

ШАЛОМ ПИНХАС



ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ МОГ
СТАТЬ БОГОМ

Шалом Пинхас.

Если бы каждый мог стать Богом

***Выражаю глубокую благодарность
моему большому другу,
замечательному сыну еврейского народа
ЭЛЬДАРУ РАВИНОВУ
за его бескорыстную помощь
в издании этой книги.***

АВТОР

ШАЛОМ ПИНХАС

**ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ
МОГ СТАТЬ
БОГОМ**

Роман

Переработанное и дополненное издание

**Издательство «Мория»
Израиль 2000**

**שלום פנחס
לאור המצפון**

All rights reserved

Copyright © Shalom Pinchas

**No part of this publication may be
reproduced in any form or by any
means without permission**

מסת"ב - 965-339-035-X - ISBN

**"Moria" Publishers,
Box 3461,
Kiriath Ben-Gurion,
Holon**

ПИСАТЕЛЬ АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН – О ТВОРЧЕСТВЕ ШАЛОМА ПИНХАСА

Искренность, абсолютная достоверность повествования – это, на мой взгляд, главное достоинство прозы Шалом Пинхаса. Благодаря этому достоинству мы, читатели, становимся не только свидетелями, но как бы и участниками весьма значительных, а порой и трагических событий в жизни, в судьбах еврейского народа.

И еще детали... Как известно, из них, из деталей, состоят не только художественные полотна, но и “полотна” бытия нашего. Чаще всего эти детали в произведениях Шалом Пинхаса тоже предельно достоверны и точны.

Все это и делает книги Пинхаса *настоящей* литературой.

Дай Бог писателю новых творческих удач! На радость его читателю...

ИЗ ОТЗЫВА ПИСАТЕЛЯ ИОСИФА ГУММЕРА О РОМАНЕ ШАЛОМА ПИНХАСА

Скажем прямо, книга мудрая, нужная всем – и школьнику, и государственному деятелю, какое бы место в обществе он ни занимал. В романе множество вопросов для раздумий, уникальные выводы о жизни, о судьбе, о том, чего же добивается человек своими действиями...

Чувствуешь грусть, собственную вину за происходящее в мире, не хочется расставаться с героями повествования, будто ты сам в гуще событий и каждая строка написана о тебе, о твоей любви, твоей судьбе...

Мне импонируют отзывы о книге известных писателей Израиля – Давида Маркиша, Анатолия Алексина, Леонида Финкеля и других...

О переводе и издании романа на иврите отеческую заботу проявил президент Израиля Эзер Вейцман, выделив специально для этого средства.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Вместо пролога	8
Тайны власти	22
Когда рыдают камни	60
Диалектика обмана	97
Повороты судьбы	128
Да будет так!	158

© Все права принадлежат автору

Посвящается брату-арабу

Всмотрись, брат, в мои глаза:
Не один ли Творец нас сотворил?
Не одна ли мать нас родила?
Кто ж нынче нас разъединил?..

ПРЕДИСЛОВИЕ

Начну вот с чего: роман “Если бы каждый мог стать Богом” - это поэма в прозе, это гимн еврею.

Мой герой прожил сложную и долгую, порой полную драматизма жизнь. Эпоха его была временем разлада в душах и умах. Век оказался непрочным. На одной шестой части суши совершалось невероятное – делалось все, чтобы всем было неудобно. И моему герою как частице народа пришлось разделить все тяготы нашей действительности. Даже во сне он не чувствовал покоя, а когда глаза его были открыты – терзалась душа. Бывали дни, когда его жизнь могла оборваться в один момент. Но ему суждено было выжить – точно вела десница Творца. На своем пути он встречал людей не только наделенных совестью и светлой головой, но и никчемных, жестоких.

У действующих лиц романа судьбы были разные, а жизнь одна. Герой мой не признает разделения людей по национальному признаку: все люди – дети одной Матери, одной Земли, Бог един. В каждом из нас есть частица Бога...

У героя повести позади длинная дорога поиска счастья, а находил он на ней одни страдания. Словно прожил целую вечность.

По радуге поднялся бы к Богу и поведал Ему о горе, постигшем людей в этом мире...

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Каждый человек лелеет надежду прожить жизнь по своему духу и характеру. Но в силах ли человек – кто бы он ни был – предопределить свою судьбу?

Моя судьба сложилась непросто, мучительно непросто. Порой казалось, что она оборачивается ужасной трагедией, которая вряд ли могла бы присниться и в кошмарном сне.

На мою долю, как и на долю многих людей моего поколения, выпала с самого детства нелегкая, ох, какая нелегкая жизнь. И особенно мучительно тяжело, когда твои глаза на все и на всех смотрят искренне и честно, душа твоя требует и признает лишь чистоту во всем. А тут по твоим нервам, как по наземной артерии шумного города, бесконечной вереницей едут, едут и едут огромные тягачи, так и норовят все разметать и раздавить, а твое обескровленное сердце клокочет в гневе, теснит грудь... Обрывается жизнь... Дважды это становилось вероятным: дважды я хотел покончить с собой.

Сейчас-то легко об этом говорить. Но тогда, тогда... Было решительное желание, граничащее с сумасшествием, – броситься под поезд: подошло под горло, стало невмоготу. А страдал я оттого, что родился сыном человека, исповедовавшего иудаизм.

Кому-то, а может, и не одному, я мешал, не давая спокойно жить и спать. Этот некто завидовал моему положению в обществе.

Мне было тогда двадцать шесть, я находился на комсомольской работе, только-только выкарабкался наверх, чуть легче стало материально, двое детей уже, год назад окончил университет... И вот анонимщик подкинул маленький листок в клетку, вырванный небрежно из ученической тетради. Бумажка эта сама по себе выглядела жалко, но была зловещей. Сигнал состоял всего из нескольких слов:

“Он пришлый, скрывающий свое происхождение, и ко всему – сын раввина. Может ли такой человек вести идеологическую работу среди молодежи?”

Вот и все. Подписи нет, но аккуратно проставлены число, месяц и год.

Мне стало невыносимо, вроде как воском затянуло лицо, перед глазами замелькали зеленовато-красные круги. Смотрел на товарища из ЦК, пригласившего меня, – он сидел напротив и казался нечеловечески огромным, надутым. Лица, глаз, губ его не видел и не слышал его: по-видимому, я временно оглох. Ощущал учащенное биение пульса у левого виска. Мысли бились, как птицы в клетке: все кончено, уволят, исключат из партии, опозорят, будет знать весь город, все, все...

Товарищ заметил мое состояние, испугался за меня (впоследствии, несколько лет спустя, он расскажет об этом в гостинице одного областного центра, где мы оба были в командировке). Оказывается, сидел я бледный, отрешенный...

– Да, к нам такие письма часто поступают, – сказал он тогда, – приходится и ими заниматься.

Я на его слова не реагировал. Казалось, говорил он через стенку, из другого кабинета. Смысл его слов до меня не доходил – в ушах стоял далекий продолжительный звон. Он все говорил и говорил. Стараясь угодить ему, я делал какие-то жалкие гримасы, заискивающе улыбался. Вид у меня был, вероятно, чрезвычайно глупый. Я чувствовал себя измученным, словно меня долго истязали. Это была боль не физическая, а глубокая-глубокая, боль

души – моя личная боль. В голове мелькнула мысль, что теперь и жена откажется от меня, еще и ее родственники по-своему станут пытаться, выяснять, смотреть с укором. Захотелось умереть, ушло желание жить: если меня выпустят, домой не пойду, лишу себя жизни... Вдруг хозяин кабинета сунул мне в руку стакан холодной воды и предложил попить.

Пить я не хотел, меня знобило, но все же я давился и пил. Каждый глоток застревал, будто комок льда, – горлу больно. Пил и думал: “Вот был бы в этом стакане яд – выпил бы до дна, и сразу бы наступила смерть”. Я даже оживился от такой мысли: умереть без терзаний, без шквала вопросов, без их “категорических выводов”. Он встал, попросил меня посидеть немного. Вышел из кабинета и долго не возвращался. Я слегка успокоился. В кабинете никого. Стал обдумывать, что и как буду отвечать. Ничего толкового надумать не смог. Но твердо решил: скажу – все неправда, наговор, отец мой десятки лет учительствует, награжден Почетной грамотой республики... и все! А не получится – брошусь под поезд, и сегодня же. Никогда мое положение не казалось мне таким безысходным – хоть волком вой. Что за несчастье: страдал отец, теперь страдаю я... Что же, и мои дети будут страдать от того, что у нас еврейская фамилия?.. Неужели быть евреем – грех?

Дверь отворилась. Я оглянулся – это вошел хозяин кабинета, член комиссии партийного контроля.

– Ну, как вы? – спросил он.

Я смотрел на него: каков он – злой, добрый?.. Мне представилось, что я постарел, стал потерянным, несчастным. Жалко жизнь, судьбу... Кому я мешаю? Стал ему скорбно говорить, что в прошлом году похоронил жену, дети остались без матери, недавно женился, а сейчас на мою голову вот такое горе – и движением головы робко указал на листок бумаги, лежавший на столе.

Все время жил беспокойно, работал в вечном волнении, редко, очень редко в жизни смеялся – чаще печалился. Так хотелось поплакать над своей судьбой...

– Да, да, мы знаем, нам известно о вас... – сказал он как-то неопределенно.

Я подумал: “Наверное, они уже все знают. Что теперь будет, какие меры предпримут?”

– Только что был, – продолжил он, – у второго секретаря, говорил с ним. Сделаем так: вот вам бумага, вот ручка, пишите объяснение. Изложите, что и как... В общем, напишите несколько слов, допустим, что все это неправда, ложь. Так пойдет? – спросил он.

Я стал приходить в себя, лицо обдало жаром.

– Хорошо, я напишу, как скажете, – единственное, что я произнес.

– Как хотите, так и пишите, – еще раз повторил он.

Опасаясь, что он может передумать, я начал поспешно сочинять объяснительную в ЦК партии. Затем, чуть привстав, подал ему исписанный лист. С напряженным вниманием следил за его реакцией...

– Ну вот и хорошо! – сказал он наконец.

Холодная волна пробежала по телу: я почувствовал, как это объяснение, точно моя трепетная душа, легло на то злополучное письмо.

– Уже поздно, – сказал хозяин кабинета, взглянув на часы, – рабочий день на исходе. Идите домой, вас, думаю, ждут дети. Не расстраивайтесь... – и он на прощание подал мне руку.

Я тут же вспомнил: когда к нему входил, руки он не подал, а просто предложил сесть.

Вернувшись на работу, в коридоре я встретил заведующую приемной, которая сказала, что ей велено мне передать: как вернусь – сразу ко второму секретарю.

– Ну как? – спросил он, едва я успел войти в кабинет, будто эти слова так и висели в его мясистых губах.

– Ничего, – ответил я, опасаясь, что разговор снова пойдет о том же.

– Разве ты не в партийной комиссии был? Не в ЦК?..

– Да, там.

– Ну и?..

Я, словно нехотя пожав плечами, вздохнул: “Ничего не сказали, считают, что это навет”.

– Ну и молодец... Хорошо, иди домой, завтра поговорим.

Но ни завтра, ни послезавтра, ни в дальнейшем больше никаких разговоров не было. Через год с лишним я был утвержден заместителем секретаря ЦК комсомола республики, а еще через два – оказался на партийной работе.

Слава Богу, пронесло! Неужели я счастливый человек? Сам Господь, наверно, пожалел моих детишек.

И вот – новое испытание. Я находился на высоте своего служебного положения, был ближайшим советником одного из руководителей республики, депутата Верховного Совета СССР. По желанию и велению моего шефа я стал его самым близким человеком. От меня у него не было ни служебных, ни семейных тайн. Скажу больше – я был наперсником во всех его делах, он признавал меня как бы своим младшим братом. Долгие годы мы были друзьями.

И черт меня дернул поверить Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. В одном из очередных выступлений весной 1968 года он бросил клич: включиться в борьбу с хищениями, бесхозяйственностью, добиваться, чтобы “земля горела под ногами воров и расхитителей”. Откликнувшись на этот пламенный призыв, я направил в Политбюро ЦК КПСС записку на двенадцати машинописных страницах. Посылая свои предложения, я имел, естественно, исключительно чистые и добрые намерения помочь партии, народу в те сложные времена. Я не рассчитывал на какой-либо ответ или благодарность. Доводы мои вытекали из жизненных наблюдений, я считал это долгом коммуниста.

В те годы советское государство, подобно огромному кораблю, лишившемуся руля, под оглушительные звуки ли-тавр качалось в мертвенно-зыбучей тиши безбрежного оке-ана застоя. В течение многих лет правления Брежнева и его братии люди стали забывать, что такое труд, научились ими-тировать его. Партийные и государственные функционеры по существу занимались идеологическим онанизмом, или, выражаясь языком известного деятеля – политической про-ституцией. Подражая верхам, низы основной целью счита-ли личное благополучие, заботясь главным образом о себе и ближних. Свое безделье лакировали приписками, обманом, дутыми цифрами, а где не удавалось, производили космети-ку – в известных кругах это называлось “наводить марафет”. Большой частью свое бессилие заливали зельем.

В республиках, краях, областях, в большинстве колхозов и совхозов круглосуточно работали винно-водочные заводы, цехи. Для производства алкоголя власти не брезговали ни-чем – в переработку шло все, из чего можно было гнать спиртное. Дружно пили все нации и народности, начиная с высшей элиты. Спивались светлые умы, лучшие артисты, писатели, художники, военнослужащие, трудовые коллекти-вы, целые семьи – вплоть до подростков. Так власть созна-тельно спаивала народ. Бытовал лозунг: “Дебилов больше – управлять легче!” От выпивки в стране погибало значитель-но больше людей, чем в авиа-, авто- и железнодорожных катастрофах.

Спрашивается, кому это было нужно, выгодно? Во имя чего делалось? Во имя коммунизма? В таком случае какой же это бесхребетный и жалкий коммунизм! Во имя спасе-ния? Кого и от чего?.. Как можно обманывать собственный народ? Какой отец, какая мать обманывает своих детей, се-мью? Большого греха не знает человечество, чем лгать тому, кто тебе верит, на тебя надеется!

Хотелось бы сегодня (а я и всегда задавался таким во-просом) спросить: где и кто этому учил?

Дома? В школе? В институте?

В каком учебнике это написано, в каком пособии?

В Библии? В Коране? У классиков марксизма?

Или в школах временщиков, в “правилах” шулеров, рэкетиров?..

Понятно, что в Политбюро тогда было не до моей записки. И не только моей. В Москву десятилетиями, ежегодно шли миллионы и миллионы жалоб, сигналов и слезных обращений. Это целые составы писем. Только на перевозку, чтение, регистрацию, ответы на них понадобились бы тысячи проверяющих, миллионы и миллионы рублей. А сколько слезных жалоб поступало в местные органы власти, в печать! В стране, пожалуй, не было семьи (а их насчитывалось почти восемьдесят миллионов!), которая не жаловалась бы на неустроенность жизни, труда...

Членам Политбюро, разумеется, было не до своих вчерашних призывов, произнесенных с высочайших трибун, и не до всенародных бед, а тем более не до моих предложений об улучшении жизни. Им просто не хватало двадцати четырех часов в сутки, установленных природой, ибо и время, и народные средства тратились на безудержную гипертрофированную гонку вооружений, приведшую к безрассудной конфронтации с мировым сообществом, к краху страны.

И вот сам Леонид Ильич – “верный ленинец” – в лаконичном, сухом стиле, присущем авторитарному правителю, на первой странице моей записки державно наложил резолюцию: “Разъяснить автору”. Ниже – подпись и дата. Записку с высочайшим повелением направили в центральный партийный орган республики, где я состоял на партийном учете и работал. Она обсуждалась на закрытом заседании бюро ЦК. Из членов бюро отсутствовал лишь один мой шеф. В те дни он лежал дома: дали о себе знать фронтовые контузии и сердечные раны, нажитые в повседневной борьбе за власть...

О том, что шло обсуждение моей записки, я не знал.

На второй день мне позвонил по правительственному телефону председатель Верховного Совета республики и попросил, чтобы я зашел к нему, если не занят. Я тут же поднялся на второй этаж, где размещалась его резиденция. Встретил он меня радушно, обратился, как всегда, по имени. Разговор начал с того, что читает мои рассказы, очерки, иногда появляющиеся на страницах печати. Не преминул заметить, что в публикуемых статьях моего руководителя видит тот же почерк. Добавил, что и сам пишет в свободное время (для меня это было новостью). Потом стал предлагать свою дружбу, заявив, что знает меня как добросовестного работника и желал бы, чтобы я работал с ним. Признаться, вначале это предложение я понял не до конца, промолчал, надеясь, что он еще что-то скажет, и, может, тогда пойму. Когда же он повторил свои слова и ясно дал понять, чего хочет, я был немало озадачен. Подумал, нет ли тут подвоха со стороны моего шефа, не проверяет ли он по-азиатски мою верность ему? Я почувствовал себя неуютно, но не растерялся.

— Не знаю, что вам ответить, не могу принять какое-либо решение. Вы оба члены бюро, руководители высших органов, не мне решать, где и у кого я должен работать. Если я не нужен моему начальству, буду так же честно трудиться под вашим руководством.

— Я обязательно переговорю с Азадом, — так произнес он имя моего шефа. — Как только он выйдет на работу — договоримся, — заключил председатель высшего органа республики.

Он тут же достал чистый лист бумаги и вместе с авто ручкой подал мне. Я взял его и положил на приставной стол, за которым сидел, подумав еще, что он хочет мне что-то продиктовать.

— Аарон, пиши на мое имя заявление об оказании тебе денежной помощи. Знаю, что живешь скромно, а деньги никогда и никому не мешали, — покровительственно сказал он.

– Простите, не могу. Ведь я не работаю у вас, и меня не поймут, – сказал я, чувствуя себя ужасно неловко.

– Да что ты говоришь!.. Кто только ко мне как президенту не обращается! Пока власть в моих руках, хочу быть добрым. Вот и сегодня мне приятно отметить свое расположение к тебе. Пиши, пиши. Я продиктую, что надо, если тебе неудобно.

Я даже не заметил, как он пригласил помощника, нажав, кажется, на кнопку. Тот поздоровался и сел напротив меня.

– Сейчас наш уважаемый Аарон напишет заявление, надо, чтобы деньги ему принесли сюда, а то он стесняется.

Сверху, в углу заявления он размашисто написал: “Бух. Выдать триста рублей”. Подписав, произнес:

– Вот и все...

Через некоторое время в кабинет принесли конверт с деньгами. Я сидел и все вертел его в руках, испытывая неясное чувство. Из неловкого положения меня вывел добродетельный хозяин, заговорив о своих творческих планах. Я стал предлагать свои услуги. Странно: он ни единым словом не упомянул тогда о заседании бюро ЦК, о моей записке и своем выступлении по этому вопросу. Позже, когда я слег, один из участников заседания, уже в больнице, чтобы как-то подбодрить меня, кое-что рассказал. Говорил о том, что председатель Верховного Совета, прервав гробовое молчание, как всегда язвительно и эмоционально заявил: “Если собрать половину аппарата ЦК и Совета Министров, вряд ли сумели бы подготовить вот такие предложения”. Председательствовавший на бюро заключил: “Зачитали, пока хватит. Когда выйдет на работу его хозяин, с ним и поговорим...”

Вот тут-то и пошло-поехало. Если до этого моя фамилия ничего не значила, то в последующие дни и долгие месяцы как будто по чьей-то злой указке стали склонять мое имя. Обо мне говорили в кабинетах и коридорах, в курилках учреждений, по телефонам, на собраниях и даже вечеринках. Знакомые, просто любопытные звонили и прямо в лоб задавали вопросы: работаю ли я еще, не случилось ли чего со

мной, некоторые, поскромнее, услышав мой голос, опускали трубку на рычаг. Звонками докучали жене. К своему, может быть, счастью, я и сам не знал, что происходило вокруг меня. Но какое-то неприятное ощущение все же оставалось. Президент республики “объясняется в любви”, а тут недоуменные вопросы знакомых. Я подумал вот о чем: видимо, шеф после выздоровления на работу не выйдет, уйдет на пенсию (а он нет-нет да и заговаривал об этом), и в связи с этим решается моя судьба (я входил в номенклатуру ЦК партии).

Через две недели шеф вышел на работу. После обеда пригласил меня к себе и спрашивает: действительно ли я отправил свою записку всем членам Политбюро. Я ответил, что послал в Политбюро один экземпляр и что это было два месяца назад.

Ни когда отправлял записку, ни в те бурные дни не предполагал, что она окажется в моей республике...

Откровенно говоря, на темы, отраженные в записке, я вел беседы с шефом очень часто — и когда бывали друг у друга в гостях, и когда вместе выезжали в командировки, и за чашкой чая в его кабинете. Иногда свои доводы я излагал горячо и, казалось мне, убедительно, ибо он, соглашаясь и не вступая в крутую полемику, несколько раз утвердительно кивал головой. Говорил он со мной интеллигентно, демократично, как с равным. Даже нередко, как бы к слову, подбрасывал анекдоты политического и житейского содержания.

Хорошо помню, как некоторое время спустя после беседы в кабинете, я с ним полетел в Москву в командировку. То была последняя наша совместная поездка. И там, в комфортабельном номере номенклатурной гостиницы, он стал меня “вытаскивать на ковер”. Пересказал содержание моей записки почти полностью — надо отдать должное, у него была превосходная память. Еще раз вернулся к записке вечером, после работы, за ужином. Я с чистой душой сказал ему, что как коммунист решил отреагировать на известное выступление Генерального секретаря ЦК партии. Уже будучи в

хорошем расположении духа, прервав меня, он доверительно, как отец сыну, с глубоким сожалением резко сказал:

– Кого вы хотели убедить, ведь там стена... Бетонная стена, – напряженно и отрывисто повторяя эти слова, он стал бить пальцами в стену нашего номера.

Тут только дошло до меня, что случилось что-то серьезное, раз он так вышел из себя. За годы совместной работы я изучил его неплохо.

Примерно через месяц и для меня, и для него наступили довольно трудные дни – дни испытания наших отношений на прочность. В городе, и особенно на работе, вокруг меня распространялись нелепые слухи... Да еще после записки мы с ним вдвоем полетели в Москву. Значит, единомышленники, во взглядах едины... На одном из партийных собраний коллектива его заместитель в своем выступлении договорился до того, что, мол, записка моя антипартийная, что я, предлагая отменить ежегодно проводимые по всей стране демонстрации трудящихся, подрываю основы государства, отрицаю социализм... Пошли разговоры (их распространяли мои “друзья” из окружения тогдашнего первого секретаря ЦК), что в записке я намекал на его неумелое руководство. Хотя там, кроме почтового штампа, обратного адреса и, конечно, моей подписи, ни единого слова о республике не было.

В чьих-то глазах я был героем, смельчаком, молодцом: как же, осмелился писать о промахах в управлении, экономике, политике и социальной жизни. Ряд трезво мыслящих, в том числе из членов бюро ЦК, в записке видели прежде всего дельные предложения.

О Боже, что было! Это знало одно небо, да еще... базарная площадь. Распространялись слухи, что это памфлет на первых руководителей республики, и написать его меня якобы подучил мой хозяин, который на бюро ЦК за овальным коллективным столом решает одно, а за его пределами творит другое... Тут уже и он испугался за свое положение. (У

нас было немало завистников, которых не радовали наши добрые, чисто человеческие отношения.)

Однажды в сентябре, после обеда (пожалел, что голодным не выдержу), шеф пригласил меня к себе и сурово спросил:

– Как дальше будем работать?

– В каком смысле? – спросил я.

– Нам надо расстаться. Вам придется уйти.

Я понял, что судьба моя предрешена там... Весь похолодел.

– Сюда заявления я не подавал. В таком случае верните меня туда, откуда взяли. У меня уже трое детей, и все школьники... нам будет нелегко, – заявил я, как мне показалось, спокойно, без волнения.

– Хорошо, работу подыщем, – хмуро буркнул он.

Но все же я решил огрызнуться на прощанье:

– Вы опомнитесь потом. Перед вами, перед своей партией все эти годы я был чист и честен. Кто-то вам в руку вложил наостренный топор, чтобы именно вы ударили меня наотмашь. Бог такие вещи не прощает н и к о м у...

Я встал и с глазами, влажными от обиды, вышел из кабинета.

Когда вся эта мерзость воплотилась в грозную реальность, я понял, что из омута зависти и клеветы мне не выкарабкаться. Сколько же горя может свалиться на человека за его еще не до конца прожитую жизнь!.. Я не находил себе места, проклинал всех на свете, ругал Брежнева и партию. “Получается, что я ей не нужен, – беспрестанно думал я про себя, – на кой черт тогда мне нужна такая партия? Пусть ей будет стыдно за своего сына...”

Я зашел в магазин, купил бутылочку уксусной эссенции и решил этой же ночью отравиться. Не хочу больше жить, не буду никому мешать. Так будет лучше всем!

Жена поняла, что случилось что-то скверное.

– Из-за записки снимают с работы... – невнятно сказал я.

– Что? И Азад Фазылович не может вмешаться, отстоять тебя? – удивилась она, зная наши с ним отношения.

Я зло выпалил:

– Если я не нужен партии, то такая партия и мне не нужна! Надоело, не могу так, не хочу больше жить! Ладно, отнимают силу, мозг, покой, но мучительно вытягивать нервы, терзать душу – это уж нестерпимо!..

Нервы были оголены, по ним как будто били электрические заряды страшной силы, и меня всего трясло. Пошел в спальню, на полку с книгами поставил бутылочку с эссенцией и лег. Жена заставила выпить валокордин. Уснул... Ночью поднялся – кислоты на месте нет. Стал искать, обшарил всю квартиру, веранду... Жена не спала, догадалась, что я ищу, сказала: “То, что ты принес, я выбросила на улицу, в мусорный ящик”. Я туда... Оказывается, она успела убрать все: ножи, ножницы, даже вилки.

Я был сам не свой, как загнанный зверь... Опять валокордин... Но сон меня не брал. Так хотелось, чтобы выключилось сознание... Бог ты мой, сколько же можно терпеть взаимонепонимание между собой и обществом, в котором живешь! С самого юного возраста, сколько себя помню, – непрекращающиеся тяготы: днем и ночью держат в неимоверном напряжении стрессы, ставшие спутниками жизни вопреки моему желанию...

Под утро я почувствовал жгучую боль в груди – по сердцу и левому плечу во всю ширь словно шашкой полоснули. Сказал жене. Она вскочила – сразу к соседу-врачу. Подозрение на инфаркт. Вызвали машину скорой помощи. Кардиограмма... носилки... больница... палата. Рядом жена. Здесь же врачи, медицинские сестры. Вызвали главного врача, приехал заместитель министра... я всех видел, всех узнавал. Виногато улыбался тем, кто смотрел на меня с сочувствием.

Бесконечные инъекции... забытье... Очнулся внезапно. Ощупью стал проверять себя – жив ли? Палата та же, рядом капельница, дальше кислородный баллон. У моей кровати на раскладушке в верхней одежде лежала жена, кажется, спала. Нет, дремала. Сразу вскочила, тут же предупредила, чтобы не

делал резких движений, спросила, как самочувствие. Я остерегался говорить: моргнул, бровью повел. Да, жив...

Так пролежал долго – сорок дней. Кроме медперсонала и жены, ко мне никого не пускали. Кормила меня жена с ложечки, как ребенка. Приподниматься, даже шевелиться долго не разрешали. Капельница, инъекции, горчичники на грудь и на спину – в общем, лечили как положено в больнице. На двадцатый день сообщили, что меня хотят навестить с работы друзья.

– Если хотят, пусть приходят, – махнул я рукой.

– В таком случае первым разрешим вашему шефу, – сказала мой лечащий врач. – Он часто о вас спрашивает, звонит главному...

После обеда в сопровождении группы врачей вошел Азад Фазылович в белом халате. Он поздоровался, приложив свою руку к моей, лежавшей на груди, спросил о самочувствии. Поговорил с лечащим врачом, с моей женой, предложил свои услуги, сел рядом. Я не отвечал, смотрел куда-то вперед, изредка глазом косил на него: хотелось убедиться, стыдно ли ему, понимает ли, что все это из-за него? Он привстал. Врач проверила мой пульс и сказала: “Все нормально”. Шеф снова взял мою руку, пожал своей пятерней, произнес: “Все будет хорошо”, и мягко кивнув, пошел к двери.

В последующие дни стали приходить и родственники, товарищи с работы, руководители рангом повыше. Шеф мой (а мой ли теперь?) приходил как по расписанию – каждый понедельник утром. По всей вероятности, давал понять, что ему скоро на работу и долго задерживаться он не может.

Наконец мне разрешили вставать. Я болел и раньше, особенно часто в детстве. Но когда в больнице впервые встал на ноги, было ощущение, будто ноги не мои, какие-то ватные. Хотя меня об этом и предупреждали, было непривычное чувство боязни.

Так и пошло. Живой, сердце билось. “И сладок свет, и благо очам – видеть солнце”, – говорится в Священном Писании...

ТАЙНЫ ВЛАСТИ

К ноябрьским праздникам меня отпустили домой, но я был уже не тот, прежний, а совсем седой молодой человек. С середины месяца я на службе. По внутреннему телефону (через пятьдесят суток после того памятного дня) сообщил Азаду Фазыловичу, что меня выписали из больницы. Последовал ответ: “Я приглашу вас”. Не звонил он долго, и я не стал что-либо предпринимать. Перед обедом звонок: “Заходите”. Зашел. Он был один. Как и прежде, встал, вышел из-за стола, поздоровался за руку. Наши взгляды встретились, свой взгляд он отвел, и довольно заметно.

Сели одновременно. Он долго молчал. В кабинете – небывалая тишина. Она казалась живой и звучала в ушах. Я взглянул на него. Он стал пальцами постукивать по столу, обдумывал, что и как сказать. И вдруг голос его прорвался:

– Мы решили вас оставить на работе.

Насупившись, я ждал, что он скажет дальше.

– Только будете на другой должности. В прямом контакте нам вместе работать невозможно. Разница в зарплате небольшая – рублей двадцать. Потом как-нибудь компенсируем... – Он помолчал и добавил: – Может, писать будете. Дорогу дадим. (Обещанную дорогу не давали ровно 777 дней.)

Я вспылил, сказал, что после всеобщего осуждения и такого позора в этом учреждении работать не буду.

– Вы не знаете, чего мне это стоило! – Он раздраженно ударил кулаком по стеклу, покрывавшему огромный письменный стол. Стекло глухо треснуло, в нескольких местах появились разбегающиеся узорчатые стрелы. – Я только что был у руководства ЦК. Это по моему настоянию решили там... – Вытянув руку, он указал в сторону окна и тут же посмотрел на свою ладонь. Я, испугавшись за него, поднес его руку к своим глазам, стал проверять, не вонзились ли в нее осколки стекла. Этот момент нас обоих вдруг успокоил.

– Выбирайте любой отдел, будете там достойным и уважаемым консультантом, я вас знаю...

– Если можно, сделайте так, чтобы я работал под руководством человека, которому по праву мог бы подчиняться, – сдался я.

Мы договорились, что меня переведут в отдел, которым руководил человек с большим опытом партийной и советской работы.

– В таком случае я приглашу своих заместителей и поставлю их в известность. О разговоре в ЦК и нашей беседе они пока не знают. Говорить буду сам, – заключил он.

Я согласился. Заместители вошли, поздоровались.

– Ой-ой-ой, как ты поседел... и пополнел, – заметил один.

– Самое главное – здоровье, – буркнул другой.

Я промолчал.

После небольших кадровых перестановок я стал работать консультантом. На этой должности пробыл чуть более двух лет.

Что же произошло, если меня решили оставить в том же органе, хотя и не на прежней должности, но все же в системе? Накануне в городе, вроде бы из-за оплошности врачей нашей поликлиники, в течение одной недели от инфаркта друг за другом скончались два работника, прикрепленных к 4-му управлению минздрава. Когда меня привезли в больницу, врачи, забеспокоившись, стали бороться за мою жизнь. Боялись, что я могу стать третьей жертвой (поэтому под утро,

когда меня привезла скорая, были приглашены и главный врач, и замминистра, курировавший это управление). Кроме того, узнав от моей жены возможную причину удара, врачи выступили в мою защиту, беседовали с моим руководством. И оно задумалось... Не сомневаюсь, что это сыграло главную роль в моей судьбе. Обо всем этом шеф не мог мне сказать прямо...

Обиды я не держал. Трудился так, как трудился всегда: честно, добросовестно, с полной отдачей. Не считал себя изгоем. В жизни, хотя она и коротка, мелким быть нельзя...

“Везде будь таким, какой ты есть на самом деле”, – говорил я себе в минуты, когда приходилось нелегко. В те долгие, беспросветные, горестные дни все, что происходило вокруг меня, моей семьи, было мучительно.

У меня начались адские головные боли. Бывали моменты, когда я готов был сунуть голову в кипящую воду или в горящую печь – только бы избавиться от страданий. Очень часто на работу приезжала “скорая”, делали мне успокоительные уколы, отвозили домой, чтобы я уснул, забылся. Не раз клали в больницу – было подозрение на опухоль головного мозга.

В ту суровую пору я ощущал исключительное милосердие моей семьи. Спасибо жене, главному другу, моему ангелу-хранителю. Она понимала мое душевное состояние, верила мне, была предупредительна, проявляла чуткость, доброту, избавляла меня от малейшего шума, раздражения. Старалась отвлечь, водила меня, как малое дитя, гулять по свежему воздуху. Приходила ко мне в постель, чтобы я мог забыть о дум и переживаний, терзавших мою израненную душу. А я ходил и думал, ел и думал, лежал и думал, негодовал, не находил покоя. Душа была парализована: не до земных, не до бранных человеческих чувств. А ведь мне и сорока еще не было...

Я часто возвращался к анализу своих поступков в связи с запиской. Порой самому себе говорил, что я круглый дурак:

жизнь ничему не научила меня. Но зато хорошо понял, что впервые в жизни за свою доверчивость, за идею и чувство гражданского долга оскорблен, унижен. Был на грани самоубийства, ходил будто живой труп. Во мне образовался странный вакуум: вроде я существовал – и в то же время не чувствовал себя. Меня все больше загоняли в угол... перестали приглашать на партийные, хозяйственные мероприятия, сессии Верховного Совета.

В результате действий властей у меня были отняты вера в партию, в руководство, в справедливость, мое право на мысль, на собственное мнение. “Зарубили” возможность выступать даже в прессе. У меня появился личный цензор в лице руководителя ведомства, где я продолжал работать. В один из таких дней позвонил заместитель редактора республиканской партийной газеты и попросил написать для них статью, уже включенную в тематический план редакционной коллегии. В указанное время я передал ее в редакцию. Неожиданно меня пригласил к себе в кабинет Азад Фазылович. Перед ним на столе лежала моя рукопись – он молча стал ее листать. На отдельных страницах его рукой были аккуратно вычеркнуты два примера негативной работы руководителей хозяйств республики (факты эти были взяты из уже проверенных и закрытых дел). А там, где стояла моя подпись, он своей рукой добавил: “консультант отдела”.

На мой недоуменный вопрос, каким образом статья могла очутиться здесь, он ответил, что редактор газеты посчитал нужным перед публикацией получить его согласие. Я не выдержал и заявил:

– Можете не беспокоиться, писать больше не буду, – и при нем разорвал рукопись в клочки.

Я оказался в полной изоляции от активной деятельности. Казалось, окружающий меня ужас вечен и безмерен. Все это вызывало апатию, хотелось тишины, уединения. Не дай Бог никому пережить то, что пришлось пережить мне. Мне нужно было как-то набраться сил, выйти из гнетущего состоя-

ния, в которое я сам себя вогнал. И по воле судьбы я родился вновь...

Не раз приходилось возвращаться мыслями к прожитой жизни, взвешивать все-все. Я считал и считаю, что надо уметь бороться за свое человеческое достоинство, иначе сам себе станешь противен.

Предо мной ежедневно возникали тысячи вопросов. Зная, что на них вряд ли кто ответит, я старался находить ответы сам. И все это для меня становилось пробуждением, отрезвлением, исцелением от воздействия долгого и страшного гипноза.

Воля моя, характер мой помогли выдержать и этот удар. Самое важное и самое главное – я глубже, еще и еще раз, осознал всю силу человека, его возможности, терпение и выдержку. Я вышел обожженным, пусть не из пламени настоящего огня – из пламени лицемерия, демагогии, закостенелой бюрократической системы.

Только потом, гораздо позже, я понял, что как человек, как член партии я ей был не нужен. Лозунги, призывы типа “Народ и партия едины”, “Все во имя человека, все на благо человека” – это были одни слова, заигрывание с народом, словесная шелуха. Ибо как только я оставался один, все, что было связано с моей жизнью и моей личностью, лопалось как мыльный пузырь, исчезало как мираж. Я не опустил и не растерялся, наоборот, общение с окружающими придавало сил. Меня согревали добрые отношения, слова простых людей, которым я продолжал, как и прежде, протягивать руку по мере своих возможностей.

В нелегкие для меня часы, когда удавалось сомкнуть глаза и уснуть, я видел самые невероятные, кошмарные сны. То я один в пустой комнате, стою босой на голом дощатом полу, а в углу клубок змей, которые так и норовят ужалить меня, а я от них отбиваюсь. То я в избе, на глиняном полу, ко мне ползут пауки и какие-то странные насекомые, и я бесстрашно давлю их ногами. Очень часто снился один и

тот же сон: я у себя на застекленной веранде, летаю по ней из края в край, хочу вылететь наружу, туда, где кругом зелено и светло, но никак не могу...

В те годы я почувствовал великую силу и сладость чистой, бескорыстной любви. Меня полюбила лечащий врач – необыкновенной красоты, очень пикантная, энергичная молодая женщина. Понял я это, когда пошел на поправку... Проверяла ли она давление крови, слушала ли сердце, я замечал, как бьется не мое сердце, а ее, как тяжело дышу не я, а она. Моя покровительница приходила в палату чаще установленного в больницах порядка. Говорила с удивительной мягкостью. Затаив дыхание, весело шутила, даже ночные дежурства взяла. Постоянно интересовалась моим аппетитом, а он у меня как раз был ужасный – давно лежу, без конца кололи...

– В таком случае будем есть вместе, кормить буду сама, – и по-матерински ласково она погладила меня по щеке.

Побуждающий психический ток пробежал по моему телу, и я тут же брякнул:

– А что, можно попробовать.

Со следующего дня я стал есть не больничную, а домашнюю еду, “приготовленную по особому рецепту”. Моя кормилица стала одеваться элегантнее, приходила в прозрачных, легких, как вдохновение, платьях, блузках. Весь ее облик был привлекателен, неповторим... Ко всему еще была она элитным врачом – из семьи потомственных медиков, хорошо знала свою работу, любила ее и, может, поэтому пользовалась уважением у медицинского персонала и окружающих. Вторую такую – ясную – я не встречал больше никогда...

Я жаждал общения с ней, хотел, чтобы она была всегда рядом... Как-то раз, видимо, заметив, что я “поспел”, моя благодетельница, одержимая своей идеей, как бы в шутку заявила, что она владеет эликсиром здоровья, и как только я захочу, она будет рада влить в меня нектар вечной молодости.

Не задумываясь, я мигом ответил:

– Конечно, хочу.

Наклонившись, она прошептала мне на ухо:

– Нектар этот в груди моей.

Этот шепот вызвал во мне такие эмоции, что я был в шоке. Не находя слов, я дерзко прильнул к ее груди... Это не было шуткой, игрой – это явилось чудом, никогда не испытанным мною (как и что было в младенчестве – не припомню).

Как старалась моя чародейка влить в меня свою неугасимую пламенную страсть, свое желание войти в плоть мою... Это стало началом великого смешения наших душ, взаимного пленения сердец...

Позже моя пассия с умилением расскажет о том, как я тогда был похож на голодного льва: сопел, упругими губами неумело и жадно тянул, стараясь проглотить грудь: боялся, что отнимут ее...

Наши отношения продолжались по ночам в “дежурке”, а затем, когда меня выписали из больницы, – в гостиничном номере. Каждый раз, расставаясь, мы жили светлой надеждой на счастливую встречу, все большую любовь.

В минуты любви, вырванные из рутины повседневной жизни, моя афродита рассказывала о нашей первой встрече в палате:

– Ты тогда показался мне немощным стариком, но постепенно я стала привыкать, видела в тебе своего отца, сына, попавшего в тяжелую беду, а затем поняла, что без тебя не могу, влекло страшно, брала невыносимая тоска, думала, что не успею раскрыть клочущую душу...

В замужестве, – глубоко вздыхала она, – я поняла, что жизнь моя непременно изменится и что я должна пережить большую любовь, что принадлежать должна другому, перед которым трепетала бы, который увлек бы меня в неизведанный мир... Вот и настал этот час...

– Не страшно? А если кто узнает? – спросил я.

– Не страх, а счастье впереди, все остальное – позади.

Отныне моя любовь принадлежит нам обоим – я твоя до скончания века. Это свято! Это судьба, которую я ждала долгих три года, чувствовала, что именно ты придешь и увлечешь меня. Перед тобой я как цветок при солнечном свете: раскрылась, взглянула – и весь мой аромат на твоих ладонях...

– А что такого ты нашла во мне? – продолжал я испытывать чувства своей лучезарной. – Ведь между нами двадцатилетняя пропасть!

– Пропать?.. В этих глазах?.. В этих губах?.. – горячо целуя меня, с пылким темпераментом она повторяла каждое слово; вскинув свои волосы, чувственно смотрела она в свою веру, в свое будущее. – Одно твое прикосновение сводит меня с ума, я начинаю погружаться в пучину страсти, любви. И каждый раз, растворившись, умираю в твоей ауре – дарю всю себя со всем своим мироощущением, – покорно подчеркивала она. – А что еще может быть возвышеннее? Все остальное, как говорится, проза.

– А как же муж? – никак не мог уgomониться я.

– Любить его не могу и никогда не смогу, у меня к нему нет никаких чувств. Любовь должна быть чистой, невинной, без примеси. Любовь – не винегрет и не ассорти... Настоящая любовь – это дар, это талант, и быть она может только одна, так же как может быть только одна душа, одно сердце. Бывает ли у человека две души, два сердца? Нет ведь? – продолжала меня убеждать моя великодушная. – Любовь как цветок: цветет, благоухает, радуется, иссыхает и оставить может лишь незабываемый аромат...

Вот так лебедушка моя преподавала мне уроки великой любви... Казалось – у нее тесная связь с высшими богами. Эта молодая женщина была способна черпать большие чувства не только из благодатного родника своей чистой и светлой души, но и из глубин бескрайней вселенной...

Ее неистовая любовь пришла в равновесие, когда она родила дочь. Это явилось вершиной наших бурных чувств...

Между тем в моей республике произошли большие перемены. Первого секретаря ЦК партии освободили от занимаемой должности. На его место избрали человека, который был первым комсомольским вожаком, еще в юные годы протянувшим мне руку и принявшим на работу.

Спустя два с лишним года после пережитого моя судьба круто изменилась. Бывший мой непосредственный шеф решил резко поднять меня по служебной лестнице, и накануне Дня Советской Армии я был снова введен в номенклатуру. До утверждения, перед самым заседанием бюро, со мной беседовал второй секретарь ЦК партии – впоследствии отличный дипломат. При собеседовании он задал мне не совсем дипломатичный вопрос: почему я, не посоветовавшись с кем нужно в республике, сразу направил записку в Москву? Я постеснялся ответить честно, но меня выручил мой же шеф, вернувший мне свое покровительство:

– Теперь-то все признали, что ничего крамольного в ней не было. Многие предложения из той записки нашли отражение в прошлогоднем закрытом письме высших органов по вопросу усиления борьбы за экономию и сохранность материальных ресурсов в народном хозяйстве, – заключил он.

Не знаю, возможно, он преувеличивал, но в тот момент, в том здании, я был счастлив. Затем были напутствия, встреча с Первым, а оттуда – прямо на бюро ЦК. Там, на бюро, слегка придерживаясь за край длинного стола, я не слушал, что говорили обо мне, как читали мои анкетные данные... стоял и радовался с тихой грустью, с болью в душе, только слышал, как билось исстрадавшееся сердце... Все же Бог велик, и Он на стороне страждущего!

Год спустя я навещал больного – уже бывшего – секретаря ЦК (меня еще в юности отец учил: к людям всегда будь внимателен, милосерден, если даже по отношению к тебе были несправедливы), по инициативе которого обсуждалась моя злосчастная записка. И он в больнице мне сказал:

– Прости... Ты действительно оказался искренним и порядочным человеком. И твое письмо в Кремль содержало то, что многие из нас поймут не скоро... А жаль!..

Мир состоит из циклов. Периодический цикл в природе: приливы и отливы, а также смена процессов и явлений, связанных между собой, не обходят и человека как частицу вселенной...

Что же “крамольного” было в той злополучной записке?

Проработав на различных должностях и зная немало о том, что происходит вокруг, я пришел к выводу, что вся жизнь общества нуждалась в обновлении. Из дня в день управление переходило из рук в руки кабинетных лицемеров, демагогов, растлителей и дельцов (в те годы я говорил жестче: государство воров и шулеров), знавших, что жизнь одна, и надо ее прожить сегодня. Так рассуждали “верхи”, так же рассуждали и “низы”. Все считалось ничейным – общественной собственностью. А я, по наивности, хотел убедить адресата, что и политически, и нравственно мы идем не туда, катимся в пропасть.

В записке отмечалось, что обкрадывается все общество, что хищения, приписки, растраты охватили по вертикали целые системы, начиная от воспитания, образования, здравоохранения, вплоть до государственных, общественных, правоохранительных органов, – и рекомендовались пути борьбы со злоупотреблениями.

В стране творились уму непостижимые вещи. Разбазаривалось по сути будущее наших детей и внуков, все государство. Можно было все продавать и все покупать, даже честь и совесть! Если короче и точнее: воровали все. Властвовала коррупция. Многие погрязли во взятках. Ради служебного положения, должности, благ и наград можно было совершать возможное и невозможное. Таким способом тысячи дельцов долгие годы держались на плаву. Старались занимать посты повыше и прочно удерживаться на них. Шло разложение молодых и неустойчивых душ, общество расслаивалось.

В записке предлагалось привести в соответствие меру труда и его оплату, расширить сферу безналичного расчета, вскоп издательскую деятельность перевести на самоокупаемость, приблизив ее к рыночным условиям. Были предложения о путях возвращения населению замороженных займов. Особое внимание уделялось вопросам рационального использования людских ресурсов, сокращения министерств, ведомств, управленческого аппарата. Были мысли о совершенствовании деятельности научных учреждений и академий наук, разбросанных по всей стране и не имеющих достаточного интеллектуального потенциала, необходимой материальной базы.

С болью в сердце писал я, как о всенациональном бедствии, о пагубном влиянии на жизнь общества семейственности, клановости, которые, как ржавчина, разъедали становой хребет государства. Отсюда некомпетентность, бездарность, невежество тех, кто обладал властью. Под огромным свинцовым покровом большевизма родоплеменными и кровными связями была опутана вся система управления страной и обществом. Это прежде всего осуществлялось ЦК КПСС, КГБ, ВПК, комсомолом, прессой. Говорят, дурной пример заразителен: аналогичные картины можно было наблюдать в республиках и областях, городах и районах. Дело доходило до того, что в колхозах, на предприятиях комсомольских и профсоюзных вожаков, секретарей партийных бюро подбирал сам “хозяин”, не говоря уже о заведующих базами, складами, магазинами, животноводческими фермами и прочим. При таком подборе кадров ясно, кто мог пребывать в сладкой жизни, а кто оказывался отщепенцем. Нередко сладкие пироги и почести доставались откровенным авантюристам, демагогам.

В записке был категорически поставлен вопрос о скомпрометировавших себя привилегиях и льготах в элитных органах государства и нецелесообразности их дальнейшего сохранения. По стране, как грибы после дождя, росли пра-

вительственные дома и санатории, дачи и сауны, места ночлега и охоты, спецмагазины и спецпарикмахерские, спецвагоны, спецсамолеты, спецметро и спецтрассы. Чинуши лютого ранга заводили спецслужителей, спецжен. Это может показаться кощунством, но почти во всех более или менее крупных городах появились номенклатурные аллеи... на кладбищах. Боже ты мой, сколько еще имеется неизвестных “спец”!

В самом деле, хорошо иметь должность, чтобы руководить. “Чертовски хочется еще поработать”, – заявил один из бывших руководителей, хотя ему было далеко за семьдесят... А другой, развалив экономику и финансы богатейшей страны мира, уже будучи на пенсии, захотел стать президентом крупнейшей республики... А спросить: что конкретно каждый из них сделал для своего народа, доведенного до нищеты, чтобы и дальше “чертовски поработать”? Не сомневаюсь: чтобы перечислить свои “праведные дела” и “труды” на благо простых людей им обоим многовато будет пальцев и одной руки...

Да, не ошиблись мои оппоненты, я действительно писал о нецелесообразности проведения Первого мая и Седьмого ноября демонстраций, которые обходились народу в копейчку. Разве всем и везде было от них так уж весело и радостно?

Я предлагал обратить особое внимание на германский вопрос, на сложное положение в странах народной демократии в Восточной Европе, на архаичную внешнеполитическую деятельность ведомства, которым руководил не менее архаичный дипломат времен “холодной войны”, да и “горячей” тоже – Андрей Громыко. С огромной болью в сердце я призывал высшее руководство обратить пристальное внимание на не совсем здоровые межнациональные отношения в Прибалтике и на Кавказе...

За семнадцать лет до эры Горбачева я высветил вопросы перестройки и гласности, писал о развитии демократических институтов в гос.-ве. *Унес Тоуа*
было ясно, что

наступает губительное время, которое когда-то захлестнуло древнеримскую империю, – время произвола, цинизма, духовной деградации, нравственного кризиса.

Некоторые товарищи, по рангу стоявшие гораздо выше меня и, безусловно, знавшие больше, говорили: “Смотри, крылья-то обрубят – тебе что, больше всех надо?”

Руководители страны вели разговоры о бережливости, а сами транжирили народные деньги. Толковали о борьбе со взятками, сами же были своими в кругу теневиков. Призывали к ленинской скромности, но не забывали о барской жизни для себя. Произносили речи о самокритике, а в свой адрес говорить “стеснялись”.

Конец записки был следующим: “С извинением за беспокойство, член КПСС (далее моя фамилия, адрес и дата – апрель 1968 года)”.

Но вот наступила славная эпоха свободы мысли, свободы суждений, свободы обращений. По инициативе Горбачева и его горячих сторонников шло широкое движение за обновление жизни общества. В эту работу включилось и наше ведомство. К нам приехали высокопоставленные товарищи из центра. Они обратились ко мне как к ветерану с просьбой подготовить предложения по обновлению общественной жизни. Я ответил, что при желании они могут ознакомиться с копией записки, когда-то адресованной мною Политбюро ЦК. Возвращая ее через двое суток, московские товарищи в один голос и, полагая, без лести заявили: “Вас надо было забрать в Москву на работу в качестве советника, и не сегодня, а в те годы застоя, которые сковали всяческую инициативу, хотя вас тогда, наверное, и не поняли бы”.

Пусть не покажется нескромным с моей стороны, что вспоминаю сегодня когда-то кем-то сказанные добрые слова. Это моя грусть, моя горькая печаль, и за нее мне не стыдно. В ответ я не сумел даже жалко улыбнуться коллегам из Москвы...



Памятник великому туркменскому поэту и философу Махтумкули в Ашхабаде.

И вот сегодня мне очень хотелось бы осмыслить свою жизнь, свою судьбу. Следует ли подробно описывать историю многострадального советского (да и не только советского) народа послевоенного периода – периода наивысшего взлета эпохи сталинизма и резкого ее падения? Считаю, не следует. Но пусть читатель, взявший эту книгу в руки, увидит, как воспринимал я действительную картину тех лет.

Вождя крупнейшей империи мира беспокоило многое. Раскол антигитлеровской коалиции, непослушание непокорившегося национального героя Югославии И.Б.Тито, чехословацкие события 1948 года, изменившиеся взгляды на социалистическое государственное устройство Георгия Димит-

циалистическое государственное устройство Георгия Димитрова, нестабильность в Польше, немецкая пороховая бочка замедленного действия в центре Европы. Ему не давали покоя дерзость маршала Чойбалсана, медлительные действия коммунистов в Индокитае, торчавшие “длинные уши” корейской авантюры, щадящая прояпонская политика США в Азии, нестабильность в многоукладном и разноречивом Средиземноморье...

Не ладились дела и внутри страны. Снижение темпов развития промышленности, крайне неудовлетворительное состояние сельского хозяйства (особенно животноводства) вызывали раздражение стареющего большевистского самодержца. Он чувствовал рост самосознания народа, робкое недовольство подлинных победителей фашизма, глубинный гул в обществе. Все это таило в себе угрозу созданному режиму, партийно-тоталитарному правлению. Сталин, с его сильно развитой интуицией, должно быть, ясно понимал, что руководить раскинувшейся теперь от Пекина до Берлина коммунистической системой, даже при помощи политики кнута и пряника, будет совсем нелегко. Он осознавал и то, что ряд лиц как из его окружения, так и за рубежом, обнаруживали промахи в категоричных и жестких установках “кормчего мирового пролетариата”. И после недолгой скучной передышки он решил пойти на новое кровопускание из народного организма. Для начала надо было вызвать бурю в кремлевском “стакане воды” – найти нового козла отпущения, избавиться от излишних авторитетов в своей стране (и в чужой тоже) из числа много знающих и засидевшихся соратников, полководцев армии-победительницы.

Недовольство, подозрительность генералиссимуса чувствовало и ближайшее его окружение. И оно пришло к решению: взять реванш. С одной стороны, нагнать страху на маниакально раздражительного, до ужаса мнительного тирана, а с другой – взбудоражив больное воображение, отвлечь его внимание новыми, давно освоенными жестокостями. Они-то хорошо изучены сита-

36 минские письма - чертёж

комасштабные кровавые спектакли. Вот и стали выдумывать, подавая на десерт, интрижки... С политической арены исчезли боевой друг Андреев, видные деятели “братских” стран Гомулка и Ракоши, Надь и Захариадис... Под подозрение попали члены Политбюро Вознесенский и сам Маленков, такие деятели, как Кузнецов и Попков. Не стало ближайшего друга генсека – Жданова, руководителей демократических государств – Димитрова, Коларова, Чойбалсана и Сланского. Было организовано “ленинградское дело”. С целью демонстрации “преданности”, “бдительности” всемогущего бериевского карательного аппарата устраивались запланированные попытки “покушений” на жизнь и здоровье “родного отца”.

Хотя на поле битвы и на поле клеветы сложили свои головы десятки миллионов самой сознательной, самой организованной и здоровой части населения, но осталась-таки, пусть израненная телом и душой, другая часть. Руководителей страны раздражала новая растущая интеллигенция, которая стала мыслить самостоятельно, не по указке, а по зову сердца, облитого кровью, по велению истерзанной души, по совести.

Шире развернулось общение народов, деятелей литературы и искусства с лучшей частью интеллектуалов мира. Рушились стены изоляции, связи становились интернациональными, планетарными. Восстанавливалась насильственно прерванная интеграция умов. “Если вовремя не обуздать умы, – подумали в Кремле, – будет поздно, надо предпринять особые меры!” И стала вестись подготовка к войне – но уже со своим народом. Был найден зловеющий повод расправиться с “вольнодумством”: отход советских “отщепенцев” от национальных (русских), патриотических традиций и культуры. Нынче-то времена другие, век-то двадцатый, век противостояния двух идеологий. Оппортунизм – этап пройденный. Теперь борьба должна вестись с новой идеей, идеей политически надуманной – с... космополитизмом, “явля-

ющим крайне вредным для строительства коммунистического общества”. Вот как! Это еще одно подтверждение патологической ненависти к здравомыслящим гражданам. Так готовился новый “сталинский удар”. Репрессии против интеллектуального пласта собственного народа – народа, спасшего кремлевских воротил от позора поражений, а может, и от приема смертоносного яда. А то и от пули в собственный висок... если хватило бы мужества. Это был еще один виток испытанного метода политических акций, “генеральной линии” отпетых негодяев, оторвавшихся от реальной жизни “подлинных ленинцев”. Могут смело заявить: ни Сталин, ни его соратники никогда не любили свой народ. Они никогда и не доверяли ему. Хотя об обратном написаны тысячи и тысячи книг, миллионы статей, поставлены сотни кинофильмов и спектаклей. Не сомневаюсь (да это и так понятно): те, кто писал оды, ставил спектакли в духе крепостных времен о “любимом отце” и “мудрейшем руководителе”, отвечали тем же, а точнее – лезвием, замешенной на лжи...

В то лихолетье, в годы зла и насилия, лицемерия и изнурительного противостояния систем, решением Генеральной Ассамблеи ООН на земле моих пращуров, в Палестине, по истечении двадцати веков возрождалась родина рассеянного по земному шару еврейского народа, представителя древнейшей культуры. В день праздника Песах 1948 года было провозглашено свободное государство, “открытое для евреев всего мира, чтобы жить вместе”. В праздничный день освобождения, 14 мая, министр иностранных дел первого еврейского государства двадцатого столетия новой эры господин Моше Шерток обратился к советскому правительству с предложением “официально признать Государство Израиль”. И тогдашний министр иностранных дел СССР Молотов сообщил, что правительство Советского Союза приняло решение об официальном признании Государства Израиль и выражает уверенность в успешном развитии дружественных отношений между двумя государствами.

ных отношений между двумя государствами.

Прочитав ответную ноту на страницах газеты “Известия”, я не мог знать, что это всего лишь дипломатический маневр и лицедейство Кремля. Не знал я также, что в эти же дни в израненное сердце советского еврейства вонзается страшнее, чем кинжал, оружие мракобесов – антисемитизм. Готовился настоящий террор на государственном уровне. Первый коварный сигнал сатанинского насилия – теперь уже в условиях перехода к строительству коммунистического общества и призыва к дружбе народов – был дан 13 января 1948 года. В этот роковой день совершилось убийство яркой и талантливой личности, авторитета мирового масштаба, гениально-го артиста Соломона Михайловича Михоэлса.

Воистину преступление, тем более если оно государственное, не знает ни границ, ни нравственности. Во избежание огласки организаторы злодейства не оставили в живых свидетеля физической расправы – убили (заодно!) Голубова, с которым поздно вечером после телефонного звонка вышел Соломон Михайлович из минской гостиницы. Как легко, не боясь Божьего суда, можно уничтожать людей! По этой же причине террористы арестовали врачей Вовси, Збарского, заметивших ссадину от тупого удара на правом виске главной жертвы. Тут же состряпали дело “еврейского буржуазного националиста Михоэлса”.

Были разгромлены еврейские театры в Москве, Минске, Харькове, в Крыму. Устроили настоящий погром на Малой Бронной – закрыли Государственный еврейский театр. Взяли под стражу, а затем убили ведущего артиста Вениамина Зускина. Ликвидировали газету на языке идиш “Эйникайт”. Кое-кому, как бельмо на глазу, не давал покоя знаменитый на весь мир и сыгравший значительную роль в разгроме коричневой чумы – Еврейский антифашистский комитет. В этом комитете “нашли” агентов английской, американской, французской, даже... немецкой разведки. Участие в деятельности комитета инкриминировалось крупным ученым, писателям, артистам, женам госу-

дарственных деятелей страны. На них наклеивали ярлыки, их предавали анафеме... И все во имя одного – нагнать страху: бей своих, чтоб чужие боялись...

В связи с этим надо признать без утайки, что в обострении обстановки была, как ни печально, и косвенная вина тогдашнего посла Израиля в СССР Голды Меир. О ее “неосторожных действиях”, легальных и нелегальных встречах и беседах в Москве с еврейскими знаменитостями и их женами мне тогда рассказывали мои близкие столичные друзья.

Началось продуманное притеснение активного участника сталинградской эпопеи, крупнейшего писателя, честного, скромнейшего Гроссмана, многострадального Пастернака, великого Шостаковича. В знак “признания” заслуг писателя-гуманиста, истинного антифашиста Ильи Эренбурга полностью было уничтожено его милосердное произведение – обвинительный акт в документах – “Черная книга”. В ней были собраны адресованные борцу за мир живые свидетельства: рассказы-исповеди, написанные кровью, слезами горя и отчаянья тех, кто видел все то, что не приснилось бы и во сне, что не писалось дотоле пером: об убийствах и надругательствах, зверствах и массовых уничтожениях еврейских стариков, женщин, детей на оккупированной территории советских республик и европейских государств. Эта книга сегодня, в дни покаяния народов, в эпоху пробудившегося милосердия и участия могла бы стать книгой века... А накануне новой волны безумия, в августе 1952 года, были казнены чудом оставшийся в живых после кровавого террора тридцатых годов немощный Лозовский, писатели Маркиш, Квитко, Бергельсон, Фефер и другие человечные, чистые душой люди.

Русская поговорка гласит: “Пришла беда – отворяй ворота”. Дальше началась массовая травля многострадальной еврейской нации на страницах центральных и местных газет, теоретических и научных журналов, в радиопередачах... чтобы каждое печатное слово, громкие радиоголоса доходили до каждой избы, до каждой семьи, чтобы расчистить путь

для долгой “варфоломеевской”, а может, гитлеровской “хрустальной” ночи, чтобы поставить в центр государственной политики гонения на евреев, определить их место в социалистическом обществе, чтобы любой гласно или негласно принятый закон был обращен к каждому еврею.

И это гнусное злодейство совершалось в годы, когда устно и письменно, в открытую фарисейски произносилось мудрое изречение гениального немецкого мыслителя и гуманиста Гете: “Превыше наций – человечество”. Именно здесь я хотел бы задаться вопросом: искренни ли были высказанные Сталиным слова: “Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма”? Не лицемерие ли это человека, говорившего одно, а творившего другое? Или с помощью подобного фразерства он хотел войти в общечеловеческую культуру?..

Усилились гонения на еврейскую интеллигенцию. Особенно усердно работала кухня дьявола в Харькове, Львове, Кишиневе, Киеве, Биробиджане. Пламя антисемитизма разгоралось с огромной силой. “Безродных космополитов”, “холуев империализма”, “недобитых лжеученых” находили в среде деятелей культуры и искусства, в стенах научных учреждений и высших учебных заведений, в редакциях газет и журналов. Устраивались экзекуции над самостоятельно мыслящими личностями. Пускались в ход “разоблачительные” статьи, анонимные письма, “сигналы”, телефонные звонки, краем уха услышанные разговоры, прямой шантаж, подписанные постановления и протоколы, обращения коллективов и открытое шельмование на собраниях. Люди по ночам не спали, а если и засыпали ненадолго – их мучили сны. Огромная интеллектуальная часть народа чувствовала себя как бы в подвешенном состоянии, у края бездны. Путем таких жестокостей усмирялись люди, загнанные в угол режимом.

Запущенная государственная машина-костолом выдавала на-гора свою специфическую “продукцию”. Начались массовые аресты и высылки лучших людей страны – интеллек-

туалов, членов их семей в известные места обширного коммунизированного государства. В результате – высвобождающаяся жилая площадь, дачи и приусадебные участки в престижных местах. Кровавый пир, устроенный повсюду, напоминал безумного Кроноса, в агонии пожиравшего собственных детей. Повсюду ощущался запах крови, слышны были стоны людей, хруст костей, разрыв кожи.

Этот же пожар был подхвачен старательными исполнителями в молодых странах социализма. Достаточно вспомнить хотя бы постыдный процесс над руководителями Чехословакии Сланским, Клементисом...

Так совершалась акция чудовищного вандализма и так уничтожался генофонд человечества. Сколько же может страдать, подвергаться испытаниям, гонениям, истреблению народ, сотни его поколений за тысячелетия своего существования? Может, это оттого, что он носитель высокой культуры, традиционных ценностей? Или потому, что малочислен и рассеян по свету... не может защищаться? Сколько существует человечество, оно ничему не научилось. От кого же зависит судьба человека, судьбы людские? Как сохранить себя, как бороться за самосохранение, как выжить, как и что надо делать, чтобы не исчез мой древний народ? С юношеских лет я искал ответ на извечный, нелегкий для моего народа вопрос. Ответ, между тем, – на поверхности. Он и тайный, и в то же время явный – он в генеалогии. Генеалогия нашего народа и удивительна, и печальна. Удивительна тем, что вопреки стараниям мракобесов мой род продолжается. А печальна потому, что в стране социализма я стал свидетелем геноцида, осуществляемого государством. Она таинственна и скорбна тем, что имеет многовековую историю... При царском режиме еврей, чтобы стать полноправным членом общества, надо было принять православие, надеть крестик, а если точнее – тяжкое, ниспосланное судьбою ярмо. Евреи вынуждены были проживать колониями в гетто, в черте оседлости, скитаться по городам и весям... А при советской власти – вынужденная

ассимиляция, незавидная, трудная борьба за самосохранение, выживание, за обыкновенное человеческое достоинство. Невероятно, но факт: при царизме, если еврей не имел высшего образования, он не считался человеком и не мог жить в столице; при коммунистическом режиме, если еврей имел высшее образование, он тоже считался недочеловеком, его проживание в столице также ограничивалось...

За годы своей долгой трудовой, общественно-политической деятельности я работал и дружил, просто общался с евреями, трудившимися в различных сферах культуры, экономики. При человеческом, добром расположении, по наитию, по зову крови они с болью в сердце говорили о том, как вынуждены были всячески приспосабливаться к нелегкой жизни. Неимоверно сложными путями приходилось переоформлять метрические свидетельства, паспорта ради изменения фамилии, имени, отчества, принадлежности к еврейской национальности на русскую, украинскую, белорусскую, азербайджанскую, грузинскую, узбекскую, даже – как ни удивительно! – на немецкую. Мне известны сотни примеров, когда еврей или еврейка заключали вынужденные браки не по любви, а по обстоятельствам. Здесь господствовали не сердце и душа, а холодный разум во имя одной цели: сохранить, обезопасить жизнь будущего ребенка (как здесь не вспомнить историю новорожденного сына Израилева – Моисея), чтобы его не постигла участь родителя, живущего жизнью отверженного. Таким путем десятилетиями шла вынужденная “интернационализация” еврейского народа.

Это нужно было дочерям и сыновьям для устройства в ясли и в сад, для поступления в школу и высшее учебное заведение, на работу по призванию и способностям, при переезде на новое место жительства. Это нужно было для заполнения злополучного “пятого пункта” личного листка по учету кадров, бланка на прописку, для заполнения бумаг на поощрение. Это нужно было для того, чтобы при изучении твоего документа, а чаще – просто видя твою физиономию, не смотрели на тебя свысо-

ка, с язвительно-извиняющейся улыбкой-ужимкой или откровенно пренебрежительно. Это нужно было, чтобы в спину тебе не бросали: “Ишь, куда метит”, “куда прет”, “да ведь он еврей”, “ух, жидовская морда”, “мало вас, гадов, немцы уничтожали”, “убирайся в свой Израиль!”

И вот в эти-то годы отчаянья судьба пробивала мне дорогу в номенклатуру. Будучи студентом, я стал комсомольским и профсоюзным организатором, редактором факультетской газеты, внештатным работником райкома комсомола. Меня даже рекомендовали на штатную работу. С запечатанной в конверте характеристикой райкома я предстал перед вожаками ташкентской областной комсомольской организации. Подобные рекомендации-характеристики – почти путевка в жизнь, а бывает, и в неизведанное...

В канун революционного праздника я был утвержден на должности инструктора отдела пропаганды и агитации обкома комсомола. Первый секретарь, поздравив меня с назначением, заявил, что это – октябрьский праздничный подарок. Дал добрый совет, чтобы учебу в университете я не оставлял, а перевелся на заочное отделение: получая 855 рублей, мне легче будет жить, работать и учиться. Он сам взялся решить с руководством университета этот вопрос. И действительно, после заседания бюро в моем присутствии из своего кабинета позвонил по “вертушке” ректору – академику Умарову, и меня, студента пятого курса, перевели на заочное отделение в связи с переходом на ответственную работу.

Седьмого ноября я был участником демонстрации трудящихся города. Несмотря на холодное время года, стоял ясный солнечный день. Я, довольный и радостный, впервые в жизни уверенно шагал в одной колонне с коллективами Центрального и областного комитетов партии и комсомола по Красной площади. С правительственной трибуны всех нас – трудящихся, студентов, учащихся – по-азиатски тепло, попартийному важно приветствовал лидер коммунистов Узбекистана Усман-ака Юсупов.



Памятник Улугбеку

Работал я с полной отдачей. Ездил по районам области. У меня появились друзья и товарищи – для них я был экзотической личностью, причем восточного типа. Я гордился своей должностью, работой, своим положением. Об этом и сообщил родителям. Просил, чтобы не беспокоились обо мне и моей учебе. Известил, что нашел себе друга жизни, судьбой своей доволен, счастлив.

Но радость моя была недолгой. В эти светлые, радужные дни я, неискушенный в политических интригах власть имущих, юнец, ничего не подозревавший о закулисных делах, творившихся в тиши “высоких кабинетов”, не знал, что и сам испытаю на себе суровое прикосновение огромной партokratической машины, без труда способной расправиться с тем, кто не вписывался в ее бронированный механизм. Специально ли, случайно ли – руководство обкома узнало о моем происхождении.

Однажды в конце рабочего дня меня вызвал второй секретарь обкома и, не предложив даже сесть, грубо и без обиняков стал выяснять, кто я такой. Я опешил – не понял. Ответил, что я – человек. Сглотнув липкую слюну, сипло добавил: мужчина. А он исподлобья, остро смотрел мне в лицо. Примерялся. Молчал. Затем спросил:

– Как ты мог попасть в обком?

Честное слово, я подумал, что меня разыгрывают, шутят со мной.

– Вам-то известно, вы должны были меня изучить. Слава Богу, уже более пяти месяцев работаю, – ответил я.

– Да, мы тебя изучили, – зло бросил он, – ты не тот.

Возникла пауза...

– Кто ты по национальности? – сверля глазами, с ненавистью спросил он, склонив голову в ожидании ответа. Его ноздри негодуяще раздувались...

Я назвал ему национальность, как записано в паспорте, в учетной комсомольской карточке, в анкете...

– Нет, ты другой национальности.

– Какой же, по-вашему?

Опять пауза...

В кабинете стало зловеще тихо. Он долго думал, смотрел сквозь меня. Наконец, устремив глаза куда-то вдаль, сказал:

– Вам придется подыскать работу в другом месте, а из обкома уйти.

Я хотел возразить, просить не увольнять, хотел было напомнить, что по их вине оставил учебу, что у меня беременная жена, задать вопрос – как нам жить дальше? Но он не дал мне и рта раскрыть. Быстро, нервно и отрывисто произнес:

– Все, можете идти. Завтра в бухгалтерии вас рассчитают.

Так, “без суда и следствия”, меня уволили – без трудовой книжки, без права на защиту, использовав секретный кнут для неугодных. Я тогда не знал да и знать не мог, что суще-

ствуется такой кнут, что он может бить так жестоко, бесчеловечно...

Мы стали жить на небольшую зарплату жены. Она работала акушеркой в городской больнице и получала 600 рублей в месяц. Жили на частной квартире (у нас была комната с глиняным полом, за которую платили 150 рублей ежемесячно). Я искал работу. У меня не было никакой специальности. Пошел в бывший “мой” райком комсомола. К моему огорчению, секретарь райкома, когда-то очень любезный со мной, даже не принял меня. Я, естественно, догадался, что и ему досталось на орехи по моей “вине”...

Я мог бы писать. Обратился в молодежную газету – вакансий не было. Зашел в редакцию республиканского партийного органа – нет опыта, к тому же беспартийный. Везде предлагали работу на общественных началах.

Промыкавшись по миллионному городу месяца три без работы, мы с женой решили поехать к ее родственникам в город Наманган, один из ближайших к столице областных центров. Там жили отец и братья жены, они не оставили бы нас в беде. Вскоре мы с женой очутились у ее родных. Встретили нас сердечно – жена моя была самой младшей и любимой в семье отца, росла избалованной вниманием родных, поскольку с девяти лет осталась без матери.

В Намангане я решил еще раз испытать судьбу и пошел в областной комитет комсомола. В городе почти все главные общественные организации и административные учреждения были расположены на центральной улице имени Ленина. В первый приход меня приняла секретарь обкома по пропаганде и агитации, очень милая, красивая молодая женщина – Олимова. Встреча оказалась достаточно приятной и, главное, не напрасной. В конце беседы Олимова заявила, что она не станет возражать и что я могу быть принят на работу, но решающее слово – за вторым и первым секретарями обкома, но оба они сейчас в командировке (в колхозах области (была в разгаре хлопкоуборочная кампания), вернутся

завтра, так как планируется расширенное заседание бюро обкома партии. Довольно любезно она предложила мне на-завтра прийти к десяти, встала, что было для меня непривычно, и на прощанье протянула свою легкую руку...

Проснулся я очень рано, вспомнился сон: я, одетый, но с босыми ногами, иду по длинной, широкой дороге, устланной бесконечным ковром. Подумал, что, наверно, предстоит еще куда-то идти или ехать. Не думая более ни о чем, встал, умылся, побрился, нарядился в сорочку любимого белого цвета с короткими рукавами, еще раз посмотрел в зеркало, важно пригладил свои тонкие усики. Вспомнив свою мудрую бабушку, завтракать не стал – решил попоститься в надежде, что это поможет мне в трудный час. Не сказав домашним ни слова, пошел в обком...

Без колебаний постучал в дверь. Услышав в ответ: “Да-да”, открыл ее (двери кабинетов тогда были еще одинарными). Хозяйка кабинета, увидев меня, по-детски обрадовалась, засуетилась, заморгала глазами, привстала и протянула руку. Она первая произнесла слова приветствия и залилась ярким румянцем. Сразу предупредила:

– Нас ждет второй секретарь товарищ Давыдов.

Юрий Семенович Давыдов был чуть выше меня, худощавый, русский, скуластый, с открытыми ясными голубыми глазами. Поздоровавшись, пригласил сесть. Беседа была долгой: расспрашивал о жизни, учебе. Говорил спокойно, слегка улыбаясь, демонстрируя свое расположение к собеседнику, уверенно и четко, как бы взвешивая на аптекарских весах каждый свой вопрос. Мне показалось, что он не всегда удачно, по-деревенски ставит ударения в некоторых словах, по-волжски окает. Больше всего его интересовали мои общественно-политические, марксистско-ленинские знания и грамотность. Ответы, как я замечал, ему нравились. Как-то по-горьковски протяжно он произносил: “Хорошо, хорошо”.

Потом, значительно позже, мы подружились. Он часто рассказывал мне про свою жизнь.

После полуторачасовой беседы Давыдов предложил, если я не утомился, повести меня на собеседование к первому секретарю товарищу Пашшаеву. За меня утвердительно ответила Олимова Зибогуль (что значит “красивый цветок”). Юрий Семенович позвонил первому и сообщил, что он, Зибогуль и товарищ... (бросил взгляд на листочек, назвал мою фамилию) хотели бы на несколько минут зайти к нему. Тот ответил, что пригласит нас чуть позже. В ожидании звонка сидели молча. Каждый из нас по-своему, исподтишка изучал друг друга. Я стал осматривать кабинет. Оборудован он был скромнее, чем кабинет второго секретаря Ташкентского обкома, – никаких дорожек, ковров или мягких стульев. Здесь все было проще: простые стулья, батистовые занавесочки в половину окна, книжный шкаф, легкий сейф на тумбе. На стене, над головой Давыдова, почти под потолком, не по размеру помещения, портрет Ленина с красной ленточкой на лацкане пиджака и поднятой в приветствии застывшей рукой. Затем я искоса взглянул на Зибогуль. Мы встретились глазами. Улыбнувшись, она подмигнула мне и участливо кивнула головой. Я тоже улыбнулся и кивнул. И тут же с каким-то непонятным чувством задумался: “Что бы все это могло означать?” Успокаивала ли она меня, как большого ребенка, одобряла ли мои ответы или молча говорила в душе: “Да, да, ты хорош!” Не найдя определенного ответа, я еще раз посмотрел на нее и не смог отвести взгляд. Хотел, чтобы она мне опять так же улыбнулась и заморгала своими черными, как уголь, глазами...

Помешал звонок. Помешал и ей, потому что она от неожиданности встрепенулась...

Давыдов поднял трубку. Короткий разговор. Он встал, произнес: “Идемте” – и первым подошел к двери. Зибогуль стала уступать мне дорогу, но я – парень бакинского воспитания – ласковым, доброжелательным, дружеским жестом показал, что ей следует идти впереди. Она, вся вспыхнув, блеснув в мою сторону глазами, гордо пошла и, словно чувствуя какую-то неловкость, по-девичьи одернула свое длин-

ное шелковое платье. Только теперь я заметил ее прекрасные, туго заплетенные черные косы.

Пашшаев вышел из-за стола, довольно свободно, по-свойски, обеими руками поздоровался с Давыдовым, Олимовой и со мной. Гостеприимно повел рукой, приглашая всех сесть. Я сел на стул у окна. Пашшаев бегло спросил своих помощников о семейных делах, о работе, после чего важно сообщил, что сегодня к шестнадцати часам все секретари обкома должны быть на расширенном заседании бюро партийного комитета. Он был с ними на “ты”.

Потом перешли к сидящему у окна гостю. Про меня говорил Давыдов. Сообщил, что я могу быть полезным в комсомоле, политически и идейно закален, был внештатным инструктором райкома комсомола. Будучи студентом, женился. Когда молодой семье жить стало трудно, перешел на заочное отделение и переехал к родным жены. В квартире не нуждаюсь. В настоящее время студент пятого курса, оценки в зачетной книжке хорошие и отличные, так что можно было бы меня использовать в отделе пропаганды и агитации. Несколько одобрительных слов произнесла Зибогуль. Говорила она подчеркнуто спокойно, уверенно, смело и звонко (сидела ко мне спиной). Я подумал, что не случайно народ придумал поговорку: “Черный волос – звонкий голос...”

Первый секретарь спросил, откуда я родом. Я ответил, что с Кавказа, родом из Дербента. Он шутливо спросил:

– У вас все молодые люди носят усы? Вы видели кинофильм “Свинарка и пастух”?

В кабинете стало необычно оживленно...

– Разумеется, пастух – мой земляк, – ответил я. – Фильм снят в моем родном Дагестане, а усы я стал носить еще в Баку. Когда учился в Азербайджанском университете. Все ребята ходили усатыми – дань моде.

Говоря все это, я хотел увидеть реакцию Зибо, но почему-то постеснялся и упорно смотрел на Пашшаева. Раздался звонок, видимо, из обкома партии. Под конец долгого

разговора Пашшаев вдруг заговорил обо мне и, чуть повернувшись в мою сторону, благожелательно посмотрел на меня. Положив трубку, поручил обоим секретарям, чтобы мне дали заполнить анкету, личный листок учета кадров, бланк автобиографии. Второй секретарь повел меня к себе. По телефону пригласил работника по имени Вазген. Вошел невысокого роста, загорелый, начинающий лысеть парень. На вид суровый, поджарый, с крупными умными глазами. Давыдов поручил ему помочь мне заполнить документы и подготовить проект постановления бюро обкома об утверждении меня на должность инструктора отдела пропаганды... К концу дня все было готово. Вазген Саркисов оказался хорошим парнем, участником войны. Он подумал, что я тоже армянин. Потом мы так сдружились, что наша дружба продолжалась десятилетия. Она зародилась в одной республике, прочно укрепились в другой.

Следующая моя встреча в обкоме состоялась на второй день. Я пришел к Вазгену, тот отвел меня к Давыдову. Бегло просмотрев дело, Юрий Семенович повел меня к первому. Пашшаев позвонил первому секретарю обкома партии Н.А.Мухитдинову. (Судьба этого человека поразительна. Бесконечное партийное везение: занимал высшие должности – вплоть до секретаря ЦК правящей партии могущественного государства.) Он говорил с нами минут пять-шесть. Полистал мое личное дело – уже в лощеной картонной папке – затем велел отвести меня к секретарю по кадрам, которому позвонил при нас. На прощание сказал Пашшаеву, чтобы меня подготовили к приему в ряды партии. Забегая вперед, скажу: после года работы я был рекомендован и принят кандидатом, а еще через год стал членом партии.

В тот же день было создано бюро обкома комсомола. Меня утвердили инструктором отдела пропаганды и агитации. Через год я уже был заведующим лекторской группой, меня избрали членом обкома. Я стал также членом Общества по распространению политических и научных знаний,

был утвержден консультантом горкома партии, внештатным корреспондентом газеты “Комсомолец Узбекистана”.

В ответ на такое ко мне отношение я старался вдвойне. Был молод, любил трудиться, стремился проявить себя, часто работал допоздна (в этом плане меня здорово закалила работа над собой в студенческие годы). Бывали случаи, когда, готовя для руководства выступления, доклады, я не спал до утра и так, не отдохнув, начинал, а вернее, продолжал следующий рабочий день. Я уже хорошо владел узбекским языком, с таджиками общался и говорил свободно. Стал выступать на страницах республиканских, областных газет, по радио. Часто ездил по районам. Область была компактной – к вечеру можно было вернуться домой. У меня появилось много хороших друзей, искренних товарищей. Я был знаком со многими комсомольскими работниками республики, некоторые из них впоследствии стали руководителями областного, республиканского уровней.

Очень многим я обязан Зибогуль Олимовой. Тепло и дружелюбно встретив, она полюбила меня чистым девичьим сердцем. Несмотря на то, что она была членом ЦК комсомола, депутатом облсовета, секретарем обкома, моим непосредственным руководителем, ко мне она обращалась на “вы” (по-узбекски “сиз”), хотя мы были ровесниками, – а мне позволяла говорить ей “ты”. К ней так обращались только секретари обкома да ряд товарищей старше по возрасту. Но я не мог ответить на ее чистую, искреннюю любовь. Был женат, жена молодая, такая же смуглая, с чуть заметными скулами, с покоряющими ямочками на щеках при улыбке, с таким же красивым разрезом глаз и длинной тяжелой косой. У нас появился первенец.

У Зибо (так я ласково звал ее) было большое желание видеть меня каждый день, даже по нескольку раз. Она обладала редкостным даром общения. На протяжении ряда лет, как добрая мать, она старалась беречь меня. Очень часто, почти по всем служебным и многим житейским вопросам

советовалась со мной. Когда я высказывал какую-нибудь мысль, идею или в текстах делал ссылки на классиков марксизма-ленинизма, русских классиков, применял, где можно, пословицы, поговорки, она от души радовалась, восхищалась моими удачами, как удачами дорогого ей человека. Тяжело переживала мои просчеты, ласково успокаивала, утешала меня. Терпеть не могла тех, кто говорил в мой адрес недоброе или открыто завидовал.

Не встретив взаимного чувства, она отошла от любимого человека. Думаю, отходила страдая. За ней стал ухаживать один важный работник потребительской кооперации области. Насчет этого она тоже советовалась со мной. Мне было и трудно, и жалко. Признаюсь, почему-то стало больно, я даже почувствовал необычную сиротливость... Какие же мы, мужчины, эгоисты! Тем не менее я ответил: “Годы уходят, и чем дальше, тем заметнее. Может, в нем судьба твоя”. И – будто ворон накаркал. То действительно была ее роковая судьба. В семейной жизни, в своей любви она была несчастна. Вышла замуж – глаза стали печальными, лицо осунулось, она подурнела. Родился ребенок. В мою честь она дала ему имя Орун (говорила, что муж так и не понял, почему именно Орун). Однажды я пошутил: “Вырастут наши дети, полюбят друг друга и поженятся...” Она оставила работу, стала домашней хозяйкой и необыкновенной матерью. В городе ни один ребенок не был так ухожен, как маленький Орунчик. Меня видела изредка, а когда встречала, звала “дагестанцем”, и глаза всегда выдавали ее чувства. Ее муж был до дикости ревнив, часто придирался к ней... Молодая, хрупкая и тонкая душа ее не выдержала: хоть греха она не знала, жизнь окончила мученически – самосожжением. В то время ее муж уже работал заместителем начальника КГБ области – дело замаяли. Не знаю, по какой причине, скорее всего связанной с работой, через год ночью он застрелился в своем кабинете.

Мне очень и очень жаль Зибогуль. Я всегда чувствовал жар ее горячего дыхания, порой ей хотелось хотя бы слегка кос-

нуться моей руки своей нежной теплой рукой. Уверен, я стал ее первой любовью, чистой, искренней, безответной. Я был очень внимателен, добр к ней. Она была для меня прозрачна, как родниковая вода. Может, я ошибался и в этом виноват. Лучше бы я был грубым, безучастным к ней, к ее делам, чтобы оттолкнуть ее. Возможно, по молодости недопонимал... Своим трагическим уходом она оставила огромный след во всей моей дальнейшей жизни, в моем понимании любви. Она могла, как природа, и торжествовать, и страдать. Зибогуль Олимова в моей жизни сыграла добрую, судьбоносную роль. Может быть, и неудобно говорить об этом, но сегодня – на закате жизни – все-таки скажу: были люди, которые любили меня, были женщины, которые влюблялись, но так, как она – пожалуй, никто! Я постоянно контролировал свои чувства, оглядывался на служебное положение, на партийный долг...

Вроде исповедался, но легче не стало. Как прекрасна любовь, особенно юной, чистой души, и как разрушительна, страшна она, когда безответна. Любовь, как и горе, – безмерна.

Вскоре семейные обстоятельства сложились так, что пришлось переехать в Ашхабад. Меня не хотели отпускать. Первый секретарь обкома, позднее Председатель Верховного Совета, даже препятствовал моему переводу, заявив, что он меня растил, рекомендовал в члены партии и обкома комсомола, а теперь я его оставляю. Его можно было понять. Полагаю, из уважения ко мне он не хотел, чтобы я уехал... По рекомендации ЦК ВЛКСМ я был принят на работу в ЦК комсомола Туркменистана. Вначале работал инструктором (несмотря на тяжелое время после землетрясения, вскоре получил и квартиру), затем заведовал отделом, занимал и другие ответственные должности.

Но как получилось, что я, сын бывшего раввина, подвергнувшегося за свою деятельность репрессиям, вначале попал хотя и на небольшую номенклатурную стезю, а затем, как бы набирая очки, стал занимать должности, входившие в компетенцию высшего республиканского органа власти? Почему

мне удавалось заниматься еще и публицистической, общественно-политической деятельностью? Что это – случай, судьба, удача? Или что-то еще?.. Ведь за подбором, расстановкой и передвижением кадров таких органов, как ЦК, крайком, обком партии, вплоть до XXVIII съезда КПСС осуществлялся строжайший контроль. ЦК КПСС по этому вопросу ежегодно запрашивал отчеты. Состояние работы с кадрами часто заслушивалось в партийных органах различных уровней. Кадровые вопросы, наряду с политическими, хозяйственными, считались главными, гвоздем всей деятельности партии.

Все эти годы я тесно общался с руководством республики, имел возможность по поручению своего начальства исполнять важные задания, связанные с работой. Участвовал в работе ряда всесоюзных совещаний, сессий Верховного Совета страны, съездов и пленумов компартии республики. Встречался с людьми из высшего эшелона власти страны...

Долгое время я не мог найти ответа на вопрос: почему так сложилось, что даже в штормовые дни нашего довольно сложного века я был постоянно на гребне волны? Годы эти для всех слоев советского общества были суровыми, до предела напряженными. В души и умы широких масс вполне эффективно внедрялась идея “загнивания капитализма”. Был выдвинут лозунг борьбы с сионизмом. Организатором и вдохновителем подобных идей выступала верхушка КПСС и ее “приводные ремни”. Мощная сеть слежки, подозрительности, недоверия, как раковая опухоль, охватывала все сферы труда, управления, творчества, воспитания.

Я был очевидцем невероятных случаев, фактов отчаянного положения человека. Все же скажу: Бог свидетель, как искренне, по зову совести, по зову крови, и по закону, и даже в обход его я помогал и защищал обиженного. Часто бросался в бой, чтобы развязать сложные узлы судеб моих соплеменников, пресечь несправедливость по отношению к ним, от кого бы она ни исходила. Считал, что человек не должен мучиться, страдать! Чужую боль воспринимал как

собственную. Мог без оглядки (в таких случаях и страха не знал) добиваться решения вопроса, призывал к справедливости и министра, и хозяйственника любого уровня. При необходимости мог решительно обратиться в Москву, в организации братских республик.

Рисковал ли я своим положением? Несомненно. Но был уверен, что ставлю вопросы справедливо и, самое главное, в интересах человека, которому мы и призваны служить. Неспроста нас именовали служащими, а по Конституции – слугами народа... На месте обиженного или просителя я представлял своих мать, отца, сестру, брата, своих детей. Считал, что тот, кто попал в беду, нуждается в помощи и что в тяжелую минуту я обязан протянуть ему участливую руку. Иногда бывало очень горько оттого, что я не мог помочь той или иной семье, годами жившей во временке, что кого-то, как я ни старался, не приняли в больницу на лечение, к кому-то не прибыла скорая медицинская помощь, кто-то не может достать необходимого лекарства, оправы для очков, в чьем-то доме нет тепла или света, воды или газа...

Признаюсь, было нелегко – трудился истово, страдал, ночами переживал за неудачный день, годами ходил с валиدолом в кармане; флакон валокардина, как часовой, стоял в ящике моего рабочего стола. В двадцать восемь лет – первые седые волосы в курчавой черной шевелюре, а в сорок – лысина на макушке!

Сколько было упреков, несправедливых замечаний, даже обвинений в мой адрес. Для многих я был человеком доступным, но встречались и такие, которые считали меня излишне принципиальным, по пустякам вызывающим огонь на себя. Но я не пасовал, не терялся, никогда в голову не приходила мысль: “Бросить все к черту – уйти”. Собственно говоря, куда уйти и можно ли уйти от себя? Наоборот, во мне рождалась какая-то волна энергии: ведь, помогая людям, сеешь добро. Я верил, что мой день, мой труд и мои

переживания не пропадут даром. А это успех, победа. Я счастлив, что таким меня мать родила, что я именно такой, а не иной. Если бы был другим – презирал бы себя.

Где бы я ни работал, куда бы ни ходил, ни ездил (даже отдыхать), было нелегко. Да я и не мог жить легко. А если бывали счастливые минуты, счастливые дни – радовался всей душой, всем сердцем, считал, что Бог со мной. Кто не был в подобном положении, не может и представить это. Повседневное, ежечасное, ежеминутно угнетало меня огромное чувство тревоги: чтобы руководители, сослуживцы, собеседники в командировке, в санатории, соседи по дому не догадались о моей национальной принадлежности.

Не могу сказать, к счастью или к сожалению: по паспорту я был записан человеком вывернутой национальности. Ее не считают ни узбекской, ни туркменской или таджикской. Язык смешанный: и тюркский, и фарси, и иврит. Вера – коммунистическая. Имя – арабское. Фамилия – еврейская. Кем же считать себя? Может, где-то я кто-то, а где-то и ни кто? Кто же я? Кем считаюсь?! Бог дал мне счастье, кроме родного языка, говорить еще и на языках азиатских народов. Где бы я ни жил – везде считался своим, мусульманином, чему безмерно радовался и чем гордился.

Вопрос о том, как я еще в далекие пятидесятые годы попал в номенклатуру, мне задавали дважды, причем сравнительно недавно, и не прямо в лоб, а как бы полушутя. Но я чувствовал: это было нечто большее, чем просто любопытство. Первый раз – когда к руководству партией пришел Андропов. В стране, и в частности в управленческой системе, проводилась массовая переаттестация, а на деле – чистка кадров. (Считаю, что это было крайне необходимо, ибо повсеместно буйствовала мафия, коррупция.) Второй раз – тремя годами позже, когда необходимо было обновить и омолодить кадры в экономике и управлении. (Тоже рановато похоронили идею – в результате пришли к окончательному развалу некогда мощной державы.)

Каждый раз эти вопросы задавались при самом активном участии представителей партийного аппарата и вышестоящего ведомства. Почему же во время собеседования мне, уже ветерану партии и труда, задавали эти любопытные и не совсем этичные вопросы? С начала новой оттепели в Государство Израиль со всех регионов стали активно эмигрировать лица еврейской национальности. Среди выезжающих попадались граждане, носившие схожую с моей фамилию. Бросались в глаза многочисленные сообщения в прессе, по радио о некоем министре израильского правительства, моем однофамильце. На страницах одной из центральных газет появилась большая статья о нашумевшем на весь мир диссиденте, позже эмигрировавшем в США. тоже моем однофамильце. Так что тот, кто, “прощупывая” меня, задавал “между прочим” не имеющий существенного значения для моей аттестации вопрос, не мог не знать, кто я по национальности. Но было уже поздно что-либо предпринимать – освободить или перевести на “другую работу”. Конечно, пару лет назад можно было бы и без объяснений решить мою судьбу, как это уже случилось со мной в конце сороковых годов. А тут – спасовали! Да и я уже успел стать “крепким орешком” благодаря все той же системе. Зная отношение властей к моему отцу, я в юные годы при получении паспорта “изменил” самому себе, своему народу... К тому же я был местным кадром, своим человеком, имел ряд правительственных наград. А самое главное – наступили новые времена, о которых можно было лишь мечтать. Времена, которые войдут – и уже вошли – в историю народов всего мира и особенно моего древнего многострадального народа.

Вот события всемирно-исторической важности: весна 1989 года – Съезд народных депутатов СССР. В кремлевском Дворце съездов в одном зале с коммунистическими бонзами сидят, чтобы решить, как дальше жить, диссидент и ссыльный, бизнесмен и фермер, банкир и таксист, независимый писатель и свободный ученый.

Гонимый, многократно проклятый властями и коллегами депутат Андрей Сахаров и его единомышленники с трибуны перестроечного съезда, транслируемого на весь мир, говорят как праведники, как борцы за свободу...

Люди, где бы ни находились – на работе, в пути, в местах ссылки, в психушках, дома, – слушали вечный зов души, жажду мысли – Свободу... Слушали без глушителей, без опаски – восторженно.

Наш огромный коллектив, отбросив нудные текущие дела, оставив рабочие места и телефоны, все дни съезда сидел в просторном кабинете шефа, где стоял телевизор... Тогда я сердцем чувствовал, что моему народу, свободолюбивым силам мира небезынтересно знать, что происходит на кремлевской политической сцене...

Стало ясно, что всемогущая партия перестает быть “руководящей силой”, что изобретение большевиков – “союз нерушимый” – разваливается на множество независимых государств, с кровавой арены сходит порождение дьявола – КГБ, что загубленные души станут явственно обвинять власть в бесчисленных злодеяниях...

Народ “воспрянул ото сна”, и “кухарки” заговорили о политике, о жизни без указа...

Все стало ново, все не как прежде, не как всегда – новомыслящие, здравомыслящие совершали бескровную революцию... Великан-айсберг двинулся в путь...

Я абсолютно уверен, что эта веха войдет в историю человечества как момент зарождения новой цивилизации, уникальной системы общения всех землян! Пошел новый, доселе неведомый отсчет времени.

Заявить так, заглянуть в грядущее позволяет небывалое переустройство всего уклада жизни истосковавшихся по свободе многочисленных народов. И именно сейчас я бы хотел вернуться к моим истокам – предкам, родителям, в райский уголок – очаг моего детства и отрочества...

КОГДА РЫДАЮТ КАМНИ

Истоки моей семьи – в Дагестане, стране гор, прародине десятков племен и народностей, где вот уже миллионы лет неустанно плещут волны седого Каспия. Этот край – отечество моих родителей.

Дербент, где я родился и вырос, один из древнейших городов мира, берет свое начало в третьем тысячелетии до новой эры. Разные народы в разное время на своем диалекте давали моему городу имя, ласкавшее их слух: Гельда, Каспие, Джилда, Цур, Джога, Дзгвис Кари, Баб-аль-Аббаб, Демир Капу, Дербани, Дербень – всего более двадцати!..

Словно волшебное царство из чудесных сказок, он привлекал людей со всех концов света... Его знали греческие колонисты и римские легионеры, ассирийские рабы, жители древней Албании и далекого Китая. Он очаровывал индийских и хорезмских купцов, привлекал египтян, вавилонян, израильтян...

Чем же мог Дербент обратить на себя внимание древних народов, работорговцев и полководцев, путешественников и поэтов, ученых и дервишей?

Сама природа сотворила дивную местность для жителей края. Этот изумительный уголок расположен близ важнейшего прохода между Кавказскими горами и безбрежной синью Каспия. Здесь проходили караваны и стратегические

пути, соединявшие Европу, Азию, Северную Африку. Здесь и был заложен город, не имевший аналога: и неприступная крепость из морского камня в горах, и главный порт на море, и город-государство.

В те далекие времена в Дербенте существовал истинный союз племен и народов, поддерживавший человеческие отношения на двадцати шести языках мира. С людьми, исповедовавшими какую-нибудь из трех могущественных религий – иудаизм, христианство, а позднее ислам, – соседствовали огнепоклонники и язычники. Веровать в своего Бога тогда никому не препятствовали.

Гельда-Дербент являлся собирателем и хранителем ашельской культуры, искусства, архитектуры далекого прошлого. Он знал камень и бронзу, железо и серебро, лен и шелка. Мои предки пользовались клинописью – древнесемитским алфавитом: для письма применяли глиняные плитки собственного производства. Аромат изумрудного вина и сочных абрикосов, мушмулы и шафрана, дагестанский кебаб и хинкал кружили головы и манили не только гурманов, но и многочисленных купцов, гуляк из далеких стран...

О высокой культуре дербентских земледельцев, скотоводов, рыболовов, о мастерах ковроткачества, по производству ценного красителя – марены, гончарных и антикварных изделий, военной техники писали выдающиеся историки и географы многих стран мира. Дербентские сады и строения сравнивали с висячими садами ассирийской царицы Семирамиды... Дербент воспевали Фирдоуси и Хайям, Низами и Навои, Лермонтов и Лев Толстой...

Наполненные чудесами и высокой культурой, жизнерадостием и мужеством бурная деятельность и славная история многоязычного Дербента в значительной мере обогатили сокровищницу народной словесности Востока, ставшую затем книгой-памятником под названием “Тысяча и одна ночь”. Как Шахразода, сумевшая обмануть кровожадного властителя, заманив его в золотой караван-сарай волшебных сказок, так

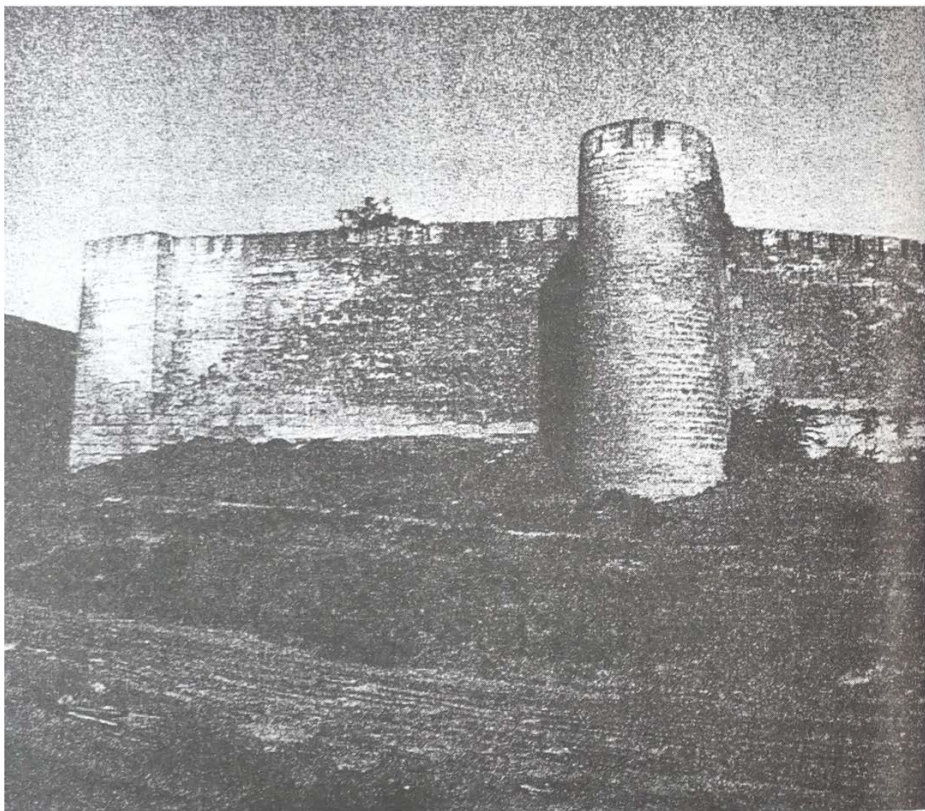
и дагестанское чудо древности тысячелетиями привлекало, сводило с ума владык-завоевателей, любителей пространств... На свободу Дербента и его обитателей покушались многие непрошенные гости... Городу-крепости приходилось встречаться лицом к лицу с надменным Киrom, Дарием, Александром Македонским, Арташесом, Османом I и Петром I, революционерами и контрреволюционерами...

Безрассудными действиями завоевателей с лица измученной и изумленной Земли стерто немало городов древности. Не стало ровесников Дербента и городов моложе на тысячи лет: Вавилона и Мемфиса, Фив и Нисы, Трои, Мохенджо-Даро... И сказочный край-сад кавказской Семирамиды невольно постоянно оказывался ареной жестоких кровавых войн. В памяти моего народа немало неизгладимых следов ужаса, а на теле родной страны гор – незарубцевавшихся шрамов. Это было настоящим бедствием для всех народов Кавказа, всей мировой цивилизации... С древнейших времен по сей день на мой край было совершено сто пятьдесят шесть крупных вооруженных нападений, из них восемнадцать – только за последние два века! Сколько же полегло народу под небом опаленного огнем Дагестана, в расщелинах угрюмых и молчаливых Кавказских гор! Сколько земли орошалось кровью и слезами моих предков! Но никому и никогда не удавалось ни силой меча, ни огнем, ни коварством, ни злодейством поставить на колени свободолюбивый, гордый, древний мой народ! Как вечный памятник древности, Дербент свидетельствует о силе бытия, торжестве разума, о бессмысленности разрушения, насилия.

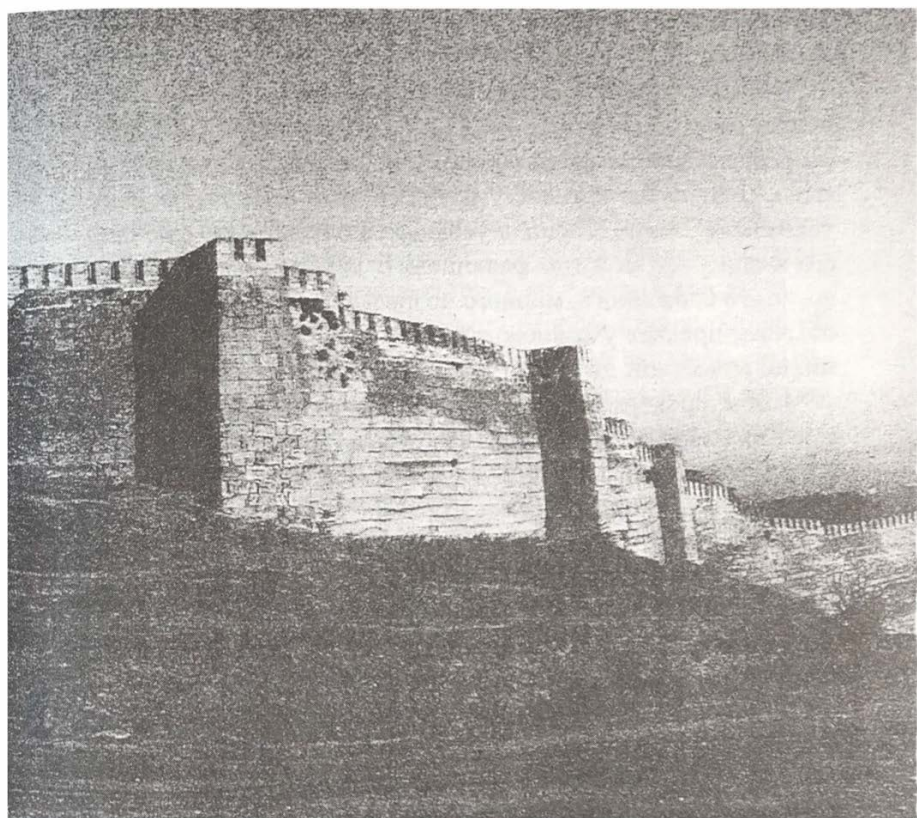
Одержимые великим инстинктом продолжения рода человеческого, страстью возрождения и сохранения родного края, своей культуры и веры, мои близкие и далекие сородичи из пепла и руин вновь воздвигали новые дома. селения, возвращивали сады, скот, создавали семьи, рожали детей, закаляли внуков, правнуков, чтобы множился многоязычный, верующий в Бога и в благородство народ.

Бывая на своей малой родине, я всегда воображаю, как далеко-далеко в небе Творец – добрый, милосердный и щедрый, неустанно следит за своей паствой. Уверен, что это Он воздвиг вокруг Дербента поселения, которым мои предки по роду и племени дали свои названия: Мушкюр, Нукол, Хамадия. Мугорты. Там и родились мои бабушки и дедушки по материнской и отцовской линиям. Сто лет назад в семье Мордухаевых и Агаруновых, в угоду Всевышнему, родился мой отец, впоследствии благородный раввин, признанный дербентской общиной. А в семье Ханукаевых и Дадашевых в дни всенародного жизнерадостного праздника появилась на свет моя божественная мать.

Своего деда по линии отца я никогда не видел, он умер в пятьдесят два года. На старинной фотографии он выглядит коренастым, худощавым, со впалыми щеками, с огромной пышной бородой с проседью, спокойным взглядом, с крупными натруженными руками. По рассказам бабушки и отца знаю, что каждый год с весны до поздней осени дедушка уходил далеко за город на заработки: сеял, косил, молотил или работал на скотном дворе хозяев. У него была постоянная работа, а это много значило в те времена: ведь в поисках заработка ему не приходилось пешком, в чарыках бороздить дороги родного края, чтобы прокормить свое довольно большое семейство. Домой возвращался с мешком пшеницы, сумкой гороха, фасоли, с двадцатью – двадцатью пятью золотыми рублями. Этого хватало до следующей весны. Нельзя сказать, что семья моего деда нищенствовала: по субботам на столе были вкусные мясные, рыбные блюда, рисовая каша, пили сухое вино, не оставались без фруктов, свежего молока и других яств. Дед исполнял еще обязанности *шамаша* (служителя) синагоги. Там же работала уборщицей и моя бабушка. Естественно, заработную плату они не получали, работа их была добровольной, “на общественных началах”. Но из кассы общины им, как многодетной семье, выделялись какие-то благотворительные средства. Там



Цитадель Нарын-кала.



же учился мой отец, стал чтецом-певцом (*замаром*). Так как до революции школ для туземных детей не было, обязанность учить детей прихожан, членов общины брала на себя синагога...

Так мой бедный дед трудился до конца своих дней. Бабушка рассказывала, что был он тихим, молчаливым, добрым, очень любил детей. Она ему подарила трех дочерей и сына. Деду очень хотелось, чтобы его сын стал уважаемым человеком. Видно, Господь услышал мольбы деда: еще при его жизни отец мой стал раввином. В 1921 году деда не стало. Этого спокойного, мирного человека похоронили по всем обычаям предков у подножья горы Пинхас, недалеко от всемирно известной цитадели Нарын-Кала...

Чтобы прокормить семью, иметь средства на приданое уже взрослым дочерям и женитьбу сына, бабушка стала работать надомницей – стегала одеяла, пряла шерсть для семей горожан. Это свое ремесло она не оставляла до глубокой старости. Я хорошо помню, как она с раннего утра до поздней ночи работала в своей комнате. У нее было блестящее деревянное веретено. Казалось, что оно сделано из слоновой кости светло-коричневого цвета с заостренными концами. Из вороха овечьей шерсти, как из огромного белого облака, одной рукой она доставала горсть, чтобы поднести к веретену, другой рукой, держа волчок за длинный кончик, скручивала волокна, и на него наматывались тонкие белые нити. Чтобы нас, детей, удержать возле себя, она давала нам крутить веретено, снимать с него намотанную как шар пряжу.

Бабушка была очень доброй, до безумия любила своих внуков – особенно детей единственного сына, ради которого готова была отдать жизнь в любое время. Очень ревностно любила меня, старшего внука, нареченного именем ее рано ушедшего из жизни мужа. Я был ее кумиром и, наверное, маленьким деспотом. Тогда я не понимал и не мог

разобраться в чувствах моей самоотверженной бабушки, не замечал, что она баловала меня, все позволяла. С младенчества меня, вечно больного, хилого, до пяти-шестилетнего возраста укладывала в свою постель и, вероятно, не всегда доверяла уход за мальчуганом своей молоденькой сношеньке, у которой росла дочь старше меня да еще на руках был грудной ребенок.

Мама, вспоминая о бабушке, часто рассказывала, как она мучительно страдала, ночами не спала, когда мы болели, бесконечно постилась, чувствуя ответственность перед Богом. Нас, ребятшек, в ту пору было уже пятеро или шестеро, мы болели часто, заражаясь друг от друга. Сколько было болезней – ни одна не обходила стороной наш скромный многодетный дом. Непрошенными гостями входили они, наводя страх и ужас, опустошая скудную казну семьи, заставляя родителей печалиться – болезнь дорогих для них детей была огромным несчастьем... Все отцовские деньги тратились на врачей, знахарей, лекарства. Не жалея средств, родители приглашали лекарей из соседних крупных городов...

Я держал первенство по болезням. Ко мне прилипали то ангина, то корь, то оспа, я задыхался от воспаления легких... да всего не перечислишь. Своими болезнями всем в доме приносил горе, рос капризным, плохо ел. Мама до трех лет пыталась кормить меня грудью, а я ее не брал... Отворачивался от съестного. Некоторые родственники считали, что я не жилец, не выживу... Даже уши прокололи, чтобы пустить кровь. Боясь, что я могу умереть, мне заменили имя, данное при рождении, стали звать просто “Аба” (папа). Бабушка из боязни потерять меня часто ходила молиться в синагогу, постилась по многу дней – до тех пор, пока я не вставал на ноги. Так продолжалось, пока мне не исполнилось десять-двенадцать лет.

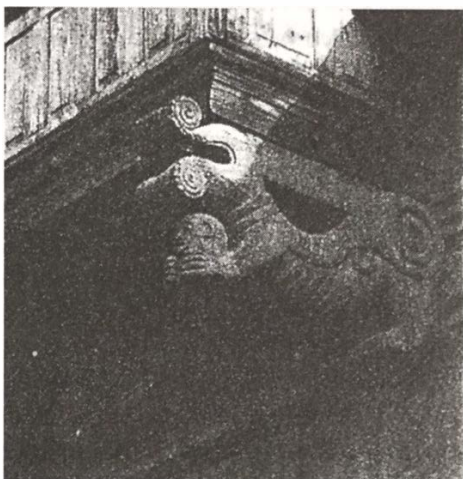
Моим первым другом была тоже бабушка. Когда я бывал здоров, она молча радовалась, боясь сглазить. Брала меня с собой в молитвенный дом, на свадьбы, куда ее приглашали

готовить обеды для гостей. А когда я болел, обязательно приносила что-нибудь вкусненькое и заставляла съесть при ней же. Я, конечно, тоже любил ее. Хорошо помню, как, когда болел, около меня сидела бабушка и я нежно гладил ее руку своей горячей от жара рукой, а из ее печальных глаз текли слезы. По субботам она часто брала меня в синагогу. Правда, я ничего не понимал там, но мне нравилось, что я с ней и среди взрослых, бородатых людей. Я этим гордился, мне казалось, что я становлюсь значительным, мудрым... Бабушку в городе многие почитали, уважали, мне казалось – что за ее красоту, грацию, за пышность одежды. Она носила много украшений из серебра на голове, шее, поясе. Один только массивный пояс с пряжкой был тяжелее буханки хлеба.

Когда началась война с немцами, бабушка молилась каждый день. Обращаясь к Всевышнему, просила Его помочь Красной Армии прогнать врага. А осенью сорок первого года все свои старинные украшения из серебра отдала моему отцу, и тот отнес их в военкомат, сдал в фонд победы над фашизмом.

Тогда мне было четырнадцать лет, и я уже хорошо понимал и бабушку, и жизнь... В те дни всеобщего патриотического подъема я впервые написал стихотворение “Мы победим”. Бабушка понимала по-русски. Как она обрадовалась, когда я продекламировал ей стихи! Я в тот же день отправил стихотворение в газету “Пионерская правда”.

Бабушка часто рассказывала о трудностях жизни в семье, сложностях бытия, хорошо знала Тору. Рассказывала много интересного и забавного из истории еврейского народа. Почти наизусть знала *сидур* (молитвенник), Притчи Соломона, Песнь Песней. Я считал, что она очень образованна и начитанна, и этим гордился, слушал ее внимательно, заинтересованно. Именно благодаря ей я на всю жизнь полюбил историю, особенно древнюю. А когда подрос, узнал, что бабушка и мама, как все горянки того времени, читать не умели и даже бумажные деньги различали по цвету...



Дербент. Кронштейн
под балконом.

Отец рассказывал, что Тору бабушка выучила еще в родительском доме – ее отец и мать были зажиточными и образованными, а дядя раби Янкил Мордухай был крупным раввином Дагестана и Северного Кавказа. В годы правления царя Александра II он ездил учиться в Ровно, Ковно, Варшаву. В двадцатых годах, в сложное для нашего народа время, ему пришлось эмигрировать в Иерусалим, где он и был погребен впоследствии. Больше никаких сведений о нем мои родители не имели. Бабушка, хоть и родилась в довольно состоятельной семье, покорно переносила выпавшие на ее долю тяготы жизни: пережила раннюю смерть мужа, заточение дорогого сына, смерть старшей дочери, злодейское надругательство над младшей. Переносила нужду, наши болезни, капризы... Через год после начала войны нашей бабушки не стало. Она умерла в возрасте семидесяти трех лет в день праздника Песах, праздника освобождения. Когда у меня родилась дочь, в память моей доброй, великодушной бабушки я дал ей имя Диана.

Мать моя была из богатого рода. Отца матери почти не помню, говорили, что он был хорошим, добрым. Его жену – мою вторую бабушку – знать не мог, так как она умерла, когда моей будущей матери было всего три года. Как самая младшая в семье, мама была согрета лаской и любовью многочисленных братьев, сестер, родных. Ни нужды, ни обид она не знала, росла здоровой, насыщенной жизнью. Ее дедушки по отцовской и материнской линиям были почитаемыми в крае людьми. Отец моей матери имел в Дербенте восемь каменных домов и за городом более десяти гектаров виноградных плантаций. Он был настолько богат, что власти разрешили ему иметь свой флаг, который долго реял над воротами огромного дома, выложенного из морского камня. Этот дом Ханукаевых как архитектурный памятник до сих пор стоит в Дербенте. Он был построен в начале XIX века в мавританском стиле из тесаного камня с необычными цоколями, фресками, фигурными кронштейнами и фантастическими драконами, держащими в лапах человеческие головы из туфа, поддерживающие балкон с фасада.

Дербентская община избрала деда своим мировым судьей. Он честно и по совести защищал интересы горожан. Мои родители рассказывали о необыкновенных способностях деда, его остроумии и находчивости. Однажды он даже осмелился поехать в Тифлис (Тбилиси) к царскому генерал-губернатору Барятинскому с жалобой на дербентского наместника. По-русски говорил он плоховато, но, чтобы было понятно и доступно, выкинул вот какой номер. Велел ободрать перья с живого петуха и отправился с ним в Тифлис. Как представитель дербентской общины был принят князем Барятинским. Из плетеной корзины дед достал голого петуха и поставил его на стол главного чиновника России в Закавказье. Показывая на петуха, стал объяснять: мол, вот так дербентский наместник обдирает местных жителей. Дед мой настолько понравился генерал-губернатору, что тот подарил ему золоченую табакерку. Из архивных документов, хоть

сейчас и не верится, известно, что в тот же год наместника отозвали и на эту должность был поставлен местный человек...

Хотел бы отметить одну любопытную деталь. После революции деда не преследовали и не раскулачивали. Жители города выступили в его защиту. Единственное, что было сделано, – это оставили ему один дом и четыре гектара земли, из которых два получила в приданое моя мать.

В эти же годы дед благословил своих сыновей на принятие православной веры, ради того, чтобы те смогли поступить в высшие учебные заведения новой России. На заре советской власти все трое надели крест и стали Исаевыми. Один из них стал юристом, другой – врачом, третий – инженером. В Ленинграде братья обзавелись семьями. Во время войны остались в блокадном городе и все с семьями погибли: кто от голода, кто от небывалых морозов, кто под вражескими пулями... всего шестнадцать прекрасных душ. Прекрасных еще и потому, что в первые дни войны многим из них предлагали эвакуироваться. Но они единодушно решили не покидать город, который дал им возможность учиться, получить специальность, принял их как родных сыновей...

Отец мой долго не позволял себе обзавестись семьей. Бесконечная смена властей, экономическая разруха и дороговизна – все это серьезно влияло на его отношение к женитьбе. К тому же ему, двадцатипятилетнему статному молодцу, год назад бросила вызов бойкая четырнадцатилетняя девушка из семьи Ханукаевых. Сюда он приходил обучать ивритской грамоте ее братьев. Была причина подождать, не торопиться... Многочисленная семья Ханукаевых, боясь грабежей и насилия со стороны то белых, то красных, решила покинуть Дербент и в 1920 году оказалась в Саратове.

Начало союзу моих родителей было положено после праздника Песах в 1922 году. Это был союз двух благородных сердец по духу и вере, по принципам верности друг другу.

Родители мои эту верность сохраняли в течение долгих шестидесяти пяти лет, тревожных и радостных, бурных и счастливых. За эти годы моя матушка подарила своему другу жизни четырех сыновей и столько же дочерей, которые по заветам своих родителей умножили затем род более чем на сто тридцать душ...

Я родился через десять лет после Октябрьского вооруженного восстания, в дни острейшей, смертельной схватки сталинистов и оппозиционеров-троцкистов, когда миру уже в новой упаковке преподносили букет антисемитизма. Отец часто рассказывал, как в день обрезания в честь моего рождения одного только холодца было приготовлено семь огромных медных тазов, было съедено много баранины, жареного судака и залома, выпито немало домашнего сухого вина.

Будучи в хорошем настроении, моя матушка не раз рассказывала о том, как отец гордился сыном-первенцем. Она говорила об этом с какой-то чуть заметной грустью и заключала: "Таким счастливым я твоего отца никогда в жизни больше не видела..."

Из детства и отрочества крепко врезались в мою память несколько очень важных для меня событий, запомнившихся надолго, которые, по-видимому, формировали мой характер, мои представления о жизни.

Совершенно бесстрашно, уже в четырехлетнем возрасте, приводил я то одну, то другую соседскую девочку домой, в спальню, затаскивал под кровать, снимал с нее трусики и "занимался любовью". Может, все это продолжалось бы еще долго, если бы однажды, видимо, услышав возню, не заметила моих проделок наша няня – тетя Елена.

– Ах, окаянные, ах, безобразники, я вам покажу, я вам дам! – сердясь, хлопала она веником и гнала нас из-под кровати...

До сих пор у меня горят щеки при воспоминании о первом серьезном проступке. Мне было лет восемь-девять. Я

уже ходил в школу. Карманных денег у меня, конечно, не было, а так хотелось иметь свои собственные ракетку и мяч, чтобы поиграть в теннис. Школьный приятель уговорил меня вытащить ночью из отцовского кармана три рубля, пообещав, что и сам сделает то же. Для меня это было ново и занятно. Всю ночь я почти не спал. Где-то часа в три и выполнил задуманное. Пропажу денег отец, разумеется, обнаружил, не мог не заметить, ибо в те годы три рубля были немалой суммой. Тогда буханка черного хлеба стоила десять-двенадцать копеек. А уж спортивные товары были очень дорогими. Вечером, когда вся семья собралась за ужином, отец спокойно заметил, что у него из кармана брюк пропали три рубля. В этот момент меня как будто кто толкнул, я бросил взгляд на отца. Смотрел он не на меня, а куда-то в пространство. Я промолчал и, наверно, очень покраснел. Стал суетливо хватать со стола то хлеб, то зелень... На этом инцидент был исчерпан. Через некоторое время отец стал брать меня с собой на базар и в магазины за покупками. И каждый раз спрашивал, что бы я хотел купить еще. Я же все время ждал: вот-вот он вспомнит и спросит про те три рубля. Когда мы оказывались один на один или дома велись разговоры о деньгах, о долгах, мне становилось крайне неловко, совестно, я чувствовал, что краснею, и никак не мог отделаться от этого ощущения. Этот горький случай запомнился мне на всю жизнь.

В начале тридцатых годов нам, как и всем в стране, жилось нелегко. Хлеб стали выдавать по карточкам, и доставать его было все труднее. Вся семья, и взрослые, и дети, вставала в два-три часа ночи, чтобы занять очередь за куском черного хлеба. По карточкам давали всего четыреста граммов на человека. В очереди было все, кроме радости: обиды, ругань, истерики, слезы... Люди теряли обувь, шапки, немало было и таких, которые, выстояв в очереди свою пайку, теряли заветный кусок или еще хуже – карточки. Тогда слышался душераздирающий крик. Много бывало обмо-

роков... Больше всего мне не хотелось вставать по ночам, так сладок был сон, а в очереди засыпать было опасно.

Гораздо позже стало известно, что тогдашним правительством голод в стране провоцировался обдуманно. С целью “выкачать” у людей драгоценности открылись сотни магазинов Торгсин. Чтобы мы не умерли с голоду, наша милая матушка вынуждена была обменять все свое приданое – золотые кольца, серьги, серебро на мешок “канадской” муки... А в войну наша многодетная семья просто нищенствовала. Никак не могу уразуметь – чего добивались власти? Какая еще была цель? В чьих интересах делалось это? Как все это назвать?..

Другое крепко запомнившееся событие произошло, когда я учился в третьем классе. Случилось это или перед первыми выборами в Верховный Совет СССР, или после принятия конституции в 1936 году. Хорошо помню: было холодное время года, весь город гудел, причитал, говорил, что пришел конец света. Это была какая-то уму непостижимая реакция и верующих, и неверующих, вплоть до школьников, на действия каких-то лиц в самом центре города. Динамитом взрывали знаменитый на всю Россию Покровский собор. Разрушали не день и не два. Взрывали с наступлением сумерек. Мальчишки, вездесущий народ, бегали смотреть, изумлялись: “Во дают! Как на войне!” До взрыва я вроде бы и не замечал храма, а когда на четвертые сутки пошел смотреть на него, храм был уже почти разрушен. Куполов не было, остались одни руины – чисто отесанные камни, белая как мел штукатурка, много церковной утвари. Разбитые иконы, искореженные кресты... Рядом – еще одна большая груда камней, балок. Там на боку лежала верхняя часть растерзанного колокола. Оттуда, ухватившись за основание некогда мощного творения человеческих рук, сиротливо выглядывал стержень, похожий на посиневший язык. Вокруг колокола валялись плотные куски бронзы нежно-сизого оттенка, оторванные от благородного тела... Все это походило на следы нашествия обезумевших громил.

Было омерзительно, щемяще больно. Стало грустно и одиноко. Кажется, я заплакал. Расстроенный, смотрел я на разбитый колокол и думал: неужели ему больше не суждено заговорить? Неужели никогда больше в городе не будет слышен его пленительный звон?..

Эта кошмарная картина снилась мне долгие годы. Позже по городу ходили слухи о том, что из тех, кто подкладывал под здание динамит, кого-то парализовало, кто-то сошел с ума, а кто-то запил...

В первые месяцы войны на этом месте солдаты вместе с ополченцами из трудового фронта соорудили огромное оборонительное укрепление на случай штурма Дербента, а после войны местные органы решили воздвигнуть здесь памятник Ленину...

Какая же была страшная напасть на лучших людей города в тридцать седьмом – тридцать девятом годах! На базаре, в магазинах, в школах, домах – всюду говорили об арестах, говорили тихо, опасаясь, что кто-то чужой может подслушать. Забирали известных, самых уважаемых людей: учителей, врачей, руководителей предприятий, горкома партии, горисполкома, даже комсомольцев. Многие из них были родственниками моих самых близких друзей.

Беда пришла и в наш дом – жертвой доноса стал отец. Случилось это в феврале тридцать восьмого. Пришли в половине второго ночи, подняли всех нас с постелей, обыск устроили во всех трех комнатах квартиры. Заглядывали в комод, в шкапулки, в письменный и кухонный столы, перетрясли постели, потревожили даже бабушку в ее крохотной комнатухе. Как ни странно, на чулан в подвале дома не обратили внимания. В спальне над кроватью, на которой мы спали с отцом, увидели групповой снимок 1930 года: отец стоит в третьем ряду среди известных деятелей Дагестана, городской интеллигенции, руководителей города. Стали выяснять, каким образом он очутился в этой группе. Снимок со стены сняли. Из просмотренных книг отобрали Тору на

древнееврейском языке, “Притчи Соломона”, “Воины Яхве”, “Записки пророков”. Отцу велели подписать акт об изъятии фотографии и книг. В ящике отцовского письменного стола заметили *тфилин*. Не знаю, то ли подозрительными показались им две маленькие черные коробочки с ремешками, то ли очень уж понравились длинные кожаные ремешки, но их тоже забрали...

С отцом пришедшие были на удивление вежливы, а всех остальных как будто и не замечали. “Охотники” чувствовали, что нужный им человек – в их руках. Отцу велели одеться. Он было хотел накинуть только пиджак, но “гости” тихо, как бы заботливо, посоветовали ему взять что-нибудь потеплее: мол, под утро прохладно. Отец надел свое выходное пальто. Увели его в половине пятого утра. На мамин вопрос: “Куда в такое время забираете мужа?” ответили: “Он пойдет с нами на несколько часов для беседы с начальством”. Подумав, добавили: “К обеду вернется”. Поверив им, отец с нами даже не простился – до того был растерян, не знал, как себя вести...

Я был впечатлительным, на все реагировал остро, возбужденно. Это у меня от мамы. Отцом гордился безмерно. Скажу больше: им гордились и в школьном коллективе, где отец проработал директором свыше десяти лет. Почитали его и в городе. Идя рядом с отцом, я замечал, как буквально через каждые пять-шесть шагов горожане приветствовали его, снимая шапки или прикладывая правую руку к сердцу. Об уважительном отношении к отцу говорило и внимание учителей к маме и к нашей учебе в школе. Я рос болезненным: когда отвечал у доски или писал, всегда волновался, дрожали руки, голос, не всегда был внимательным, в словах пропускал буквы, при решении задач результаты выводил без отдельных действий. После контрольных заданий учителя забирали тетради для проверки. И я часто замечал, что мои ошибки исправлены, да так, будто это сделано моей рукой. Теперь я понимаю, что эти добрые, милые люди помогали

не мне, а моему отцу-узнику, безмолвно облегчая его страдания, которые, как считали они, переносил наш отец в застенках НКВД.

Вестей об отце мы не имели больше года. Это были тяжелые для нашей семьи дни. Приходилось нам очень трудно – сиротство ощущалось на каждом шагу. Больше всех страдали мама и бабушка, ведь в семье девять человек, шестеро из них – дети. Благодаря знакомым мама устроилась в хлебопекарню. Дорогая мамочка! Физических и моральных сил ей хватило всего на несколько дней. В те годы все работы в пекарнях производились вручную: тяжелые мешки с мукой высыпали в огромные емкости, месили деревянными лопатами. Затем на столе, покрытом оцинкованным железом, резали тесто на куски, укладывали его в чугунные формы и ставили в пышущую жаром печь. И все успевай! Прозевал – хлеб сгорел. Формы с испеченным хлебом вытаскивали из печи длинной кочергой. Не проработав и четырех полных дней, мама наша пришла домой измученная и вся разбитая. Только вошла в комнату – опустилась на пол и горько-горько заплакала. Она роптала на свою судьбу, проклинала недругов своего единственного заступника, отца своих малолетних детей, просила Господа пощадить ее, вернуть мужа. Мы, дети, окружили маму, обняли ее и тоже принялись реветь... А она, видя наши слезы, разрыдалась еще горше.

Оказывается, для детей самое непривычное и печальное, когда мать в постели. Мы никогда не видели маму больной. А тут она слегла. Мне стало очень жаль ее. Я был старшим из сыновей. Подошел к ней, опустился на колени и начал гладить ее милые руки, которые многие годы меня кормили, купали, ласкали. По щекам матери потекли крупные слезы. Я стал вытирать солоноватые липкие капли и утешать маму. Говорил, что очень сильно люблю ее, что пойду работать, а она пусть сидит дома, готовит обеды, следит за малышами. Я впервые почувствовал, как сильно люблю свою прекрас-

ную, беспомощную мать. Эту любовь пронес я через всю свою жизнь.

Связь мы поддерживали только с маминым братом, работавшим в Ленинграде врачом. По просьбе мамы я написал ему о постигшей нас беде. Через какое-то время он вызвал нас на переговоры. Мама с большой осторожностью объяснила дяде, что случилось. Вскоре от него пришел первый перевод на пятьдесят рублей. Эту сумму мы стали получать ежемесячно вплоть до папиного освобождения...

Мамина сестра тетя Майром ежедневно помогала нашей семье. Она жила недалеко от нас. У нее была старая, но хорошая корова, и молока хватало и ее семье, и нам: она каждый вечер приносила по три-четыре литра.

Мама предложила тете Елене, нашей нянечке, подыскать себе другое место, потому что нам нечем было платить ей. Тетя Елена вначале так обиделась, что и говорить не могла. Потом обида прошла, и она заявила, что в горестные для нашей семьи дни она нас не покинет, что она очень хорошо помнит, как ее, безродную, разутую, раздетую, в голодные тридцатые годы мы приютили как близкую и родную. Сказала, что всех нас, особенно детей, полюбила как своих и бросить нас теперь не сможет. Она отказалась от двадцати рублей, которые получала, и даже личные многолетние сбережения отдала маме. Тетя Елена устроилась уборщицей в парикмахерскую и аккуратно вносила свое жалованье в семейную кассу. Так она и прожила у нас до замужества, став в подлинном смысле слова настоящей маминой сестрой.

По совету тети Елены, не дожидаясь возвращения отца, мы все сфотографировались. Прошение об освобождении отца из-под стражи и фотографию мы направили на имя Крупской, вдовы Ленина, бывшей тогда заместителем народного комиссара просвещения РСФСР.

В один из весенних дней через кого-то от отца пришла необычная весточка – платок в виде плащаницы: на нем красными и зелеными шелковыми нитками были вышиты

наш дом, бабушка, мама, мы, все дети, и сам папа в вагоне с зарешеченными окнами. Была вышита и дата: январь 1939 года. Появилась надежда, что наш папа жив. Мама побоялась поделиться новостью с кем-либо. Знали о послании только мы и наши тети Майром и Хана. Мамочка чуточку просветлела, а так – и она, и бабушка выходили в город во всем темном. Бабушка часто постилась (мне кажется, она просто экономила на еде), каждую субботу ходила в частный молитвенный дом. Синагога, как и все другие культовые учреждения в городе, была закрыта. Мама говорила, что многие нам сочувствуют, недоумевают, за что арестовали отца – сына батрака, человека мягкого и доброго, который не мог обидеть даже муху. Некоторые считали, что отец стал жертвой властей из-за того, что когда-то был раввином города. Выявились и “друзья”, избегавшие встреч с нами, боявшиеся общаться с семьей “врага народа”. Время было страшное: друг опасался друга, учитель – ученика, сосед – соседа. Казалось, на головы людей обрушилось проклятие за неведомые грехи...

В конце мая от отца пришла точная копия первого послания. Под большим секретом нам передали, что он сидит в махачкалинской тюрьме.

Было лето, каникулы, я, как всегда, читал. Вдруг послышался страшный крик тети Елены. Я выскочил первым, прибежала мама, вышла бабушка. В столовой стоял отец. В том же костюме, с узелком в руке, вот-вот заплачет... Мама первая бросилась ему навстречу, потом почему-то медленно опустилась к его ногам и надрывно и горестно заплакала. Я тоже стал плакать. Бабушка упала в обморок. Милая бабуленька – она страдала больше всех. Мы, дети, стали хватать отца кто за руку, кто за ногу. Плач, крики радости заполнили наш дом... Мама распорядилась: кому-то сбегать в магазин, тете Елене – на базар, старшей сестре – срочно обойти и известить всех родных. А у самой слезы так и текут. Бабушка смиренно сидела на краешке дивана и, кажется, тихо

молилась... Я, как всегда, сел рядом с папой с правой стороны. Смотрел на него как на своего большого друга, с которым хотелось поделиться всем тем, что накопилось на душе... Но если бы не бабушка, я бы сразу и не заметил: забирали папу со жгуче-черными густыми волосами, а вернулся – вся голова белая... во рту недостает двух передних зубов.

Народ к нам валом валил. Наши двери в те дни были раскрыты настежь. Не было конца поздравлениям, приветствиям, пожеланиям, подаркам, сочувствию. Папа всем рассказывал, что органы извинились перед ним, что он будет работать на прежней должности.

В один из августовских дней, в воскресенье, проведать отца пришел какой-то мужчина. Говорили они в коридоре, слышен был только резкий, натуженный голос отца. Вышла мама, вслед за ней и я. Рядом с отцом, как-то боком, ссутулившись, стоял низкорослый дяденька. Прикладывая руку к груди, он тихо говорил:

– Это не я, честное слово, не я...

– И ты еще даешь “честное слово”, клянешься детьми и самим Богом? – повысив голос, спрашивал отец. – В таком случае да будет проклят этот твой бог вместе с тобой.

– Тихо, раби, тихо, прошу вас, ведь все слышат...

– Теперь я окончательно убедился, что учил, воспитывал бесовестного человека. Мне показали и твою клязу, и протокол твоих показаний.

Я узнал того, с кем разговаривал отец. Он стал директором школы после того, как отца забрали. А до этого был завучем.

– Меня заставили... уговорили там, – рукой он махнул в сторону двора, – в городском управлении...

– Следователь сказал, что за клевету я вправе просить НКВД возбудить против тебя уголовное дело... Впустить в дом, чтобы ты сидел рядом с моими друзьями, моими детьми, – не могу.

Я папу хорошо знал. Он впервые разговаривал в таком тоне. Гость руками взялся за голову, придерживая, вероят-

но, чтобы не отвалилась. Молчал, ждал решающего удара.

– Можешь не бояться. Тебе не уподоблюсь. А нас когда-нибудь Бог рассудит, – и с этими словами отец указал пришельцу на дверь...

Тогда я не мог понять, что же такое серьезное могло произойти между отцом и этим человеком, почему он так поступил с гостем. Ко всему, пришедший был директором нашей школы. Мы, учащиеся, побаивались его, при встрече буквально дрожали от страха, едва завидев, машинально снимали головные уборы, старались пройти мимо незамеченными.

Гораздо позже, начав вести личный дневник, я часто просил отца поделиться со мной, рассказать о жизни и судьбе своей. Папа долго не хотел рассказывать то, что меня интересовало, тем более что-либо негативное о советском строе, о том, как он стал жертвой режима. Думаю, оберегал меня, подростка, от неприятных размышлений. Он помнил еще и о том, что, выходя из тюрьмы, дал подписку о неразглашении...

И все-таки наступил день, когда можно было говорить. Это было новое время, другая эпоха. Все газеты запестрели сообщениями об аресте Берии и его расстреле. А тут и знаменитый XX съезд партии. Папа, как бы освобождаясь от гнетущей тяжелой ноши, поговорил со мной уже как со взрослым членом этой партии, набравшейся наконец мужества исповедаться перед всем миром о трагическом прошлом государства, о горестной судьбе советского народа. Папа вспоминал о своей нелегкой жизни, ее сложностях, о том, что больше всего волновало меня.

...В ту страшную ночь отец не думал, что его посадят. В дербентской тюрьме его продержали трое суток. Когда огромное каменное здание тюрьмы заполнилось арестованными, в основном знакомыми, где-то часа в два ночи несколько конвоиров с наганами и овчарками повели их к железнодорожному полотну (тюрьма находилась возле вокзала). Отец едва заметил на рельсах товарный состав. Дали команду грузиться в вагоны. На полу – жалкие остатки соломы. Вско-

ре вагон оказался набит людьми. Их было столько, что они могли только стоять, невозможно было даже поднять руку, чтобы вытереть пот. Конвоиры задвинули огромные двери и заперли их снаружи на металлический засов. В вагоне стоял специфический запах – отдавало мертвечиной. Легкий толчок паровоза, короткий звук гудка. С трудом уловимые переговоры снаружи. Гнетущая настороженность. Страх, неизвестность... Поезд тронулся. Люди оживились, начали гадать: куда везут? Одни говорили – в Баку, другие доказывали, что повезут еще дальше, морем в Среднюю Азию, как бакинских комиссаров, третьи – что на север... Наконец определили, что поезд идет в сторону Ростова. Но куда? Далеко ли? Стали размышлять: раз в вагонах-телятниках, значит, недалеко. Едут стоя! О том, чтобы сесть или лечь, и думать не приходилось. Значит, путь недалекий – куда-нибудь за Дербент.

Состав шел бесшумно, без остановок. Примерно часа через три стал. Из вагона виднелся пробуждающийся рассвет. Огромные дверные проемы раскрылись: видны были горы, где-то далеко мигали огни в домах. У состава стояли десятки “черных воронов”. Раздалась глухая команда: “Выйти и построиться по два”. Затем повезли окраинами города. Тусклый свет фар. Подъехали к махачкалинской тюрьме. Прошли санобработку, всех постригли наголо, затем пофамильно тюремщики разобрали заключенных, как давно знакомых. Отец оказался в одиночной камере, где провел сто двадцать дней и ночей...

Подробно пересказывать то, о чем поведал отец, не стану. Во всех тогдашних тюрьмах страны все было примерно одинаково: страшное, дикое, средневековое – били по лицу, ставили на “конвейер”; были и многочасовые стойки с поднятыми руками, на допросах ставили босыми ногами на соль. Заставляли подписывать против себя ложные обвинения, обещая выпустить на свободу, если...

За четыре месяца одиночки отец потерял два зуба и дважды лежал в тюремной больнице... Но он не сдался: вера в

Бога, совесть, порядочность, любовь к детям, матери, жене взяли верх над машиной страха. Отца перевели в общую тюремную камеру, где на двухъярусных нарах билось около сотни человеческих сердец. Это было огромное сырое каменное помещение с цементным полом, освещенное двумя тусклыми лампочками, подвешенными высоко к потолку. Здесь папа провел еще четырнадцать месяцев жизни, полной тревог и печали. Хотя народу было много – настоящий конгломерат наций и профессий, – отец считал, что здесь легче и лучше: все же на людях. Стали знакомиться. Значительную часть заключенных составляла интеллигенция, свезенная со всех концов Дагестана. Но были здесь и воры, и растратчики. Разговоры, разговоры... Меньше всего касались тюремных дел, о них старались говорить без деталей, в общем. Люди боялись, друг другу не доверяли, зато пытались шутить, вспоминали о жизни на свободе, о семье, детях...

Отец нашел своеобразный способ общения – песню. У него был пленительный голос, еще в молодости он пел в синагоге, являлся хазаном. Пел на иврите субботние и лирические напевы из “Песни Песней”. С восторгом внимали узники мелодиям из “Плача Иеремии”, элегии “Кинот” о бедствии, постигшем еврейский народ, пасхальным песням об освобождении. Импровизируя, страдая, папа их исполнял также на русском и азербайджанском языках. В неволе его голос стал еще мелодичнее. Своим пением отец зывал к властям об участии к тем, кто был брошен за решетку. Обращался к ветру, облакам, ласточкам и голубям: донесите до друзей мольбу о милосердии к незащитной семье, призывал мать, жену, юных еще сыновей и дочерей быть терпеливыми, не отчаиваться, мужаться, слушаться старших...

Узники полюбили отца. Со слезами на глазах они просили его петь и петь – в его песнях были и их слезы тоски и неизбежности. Отца полюбили не только заключенные, но и энкавэдэшники, которые уже с весны тридцать девятого года сами стали пополнять ряды жертв. Многие из них, по-

пав в немилость к высшему начальству, оказались под жерновами власть предержащих...

Наступали удивительные перемены: служители застенка уже не замечали “вольностей” узников, порой прямого ехидства и насмешек; вместо кулака и “конвейера”, хамства и мата в ход пошли вежливость, почтительное обращение на “вы”. Работу предлагали на выбор. С весны заключенных вывозили на сельхозработы уже в открытых полуторках, без овчарок и с небольшим числом притихших конвоиров. Несколько раз отец участвовал в посадке виноградных черенков и фруктовых саженцев в одном из совхозов поблизости от столицы республики. Именно тогда он и переслал нам платок с вышивкой через какого-то доброго работника совхоза. А второй платок отправил через заключенного, вышедшего на волю раньше. Послание было пришито к нижнему белью...

Об отце, его интеллекте и дальнейшей судьбе заговорило уже новое тюремное начальство. В первых числах августа отца пригласили на беседу. За столом сидели трое. Довольно вежливо предложили сесть, справились о самочувствии и задали вопрос: “Хотите ли вернуться домой?” У отца закружилась голова, ему стало плохо, он упал... Через какое-то время очнулся – за столом сидели те же люди, и он напротив них на табуретке. Перед отцом извинились и за то, что произошло здесь, и за всю его тюремную эпопею, затеянную по вине “старателей из следственных органов”, уже привлеченных к ответственности, которыми руководил не так давно разоблаченный враг народа, бывший нарком внутренних дел Ежов... Отцу показали подшитый в дело донос того, по чьей вине он угодил в тюрьму.

Кто же был доносчиком? Им оказался бывший ученик отца (я уже пересказал недолгий разговор отца с ним на пороге нашего дома). Этот человек вырос без отца. Как полусироту мой отец выучил его, устроил в городское педучилище. Вскоре тот вернулся в школу уже в качестве учителя. Через год отец поздравил его со вступлением в ВКП(б). Еще

через год тот уже был завучем, а потом – стал доносчиком...

Ох эти неблагодарные ученики! Встречались они и во времена Христа. Разве у Нерона был плохой учитель – философ Сенека? Или Аллилуевы не были добры к Джугашвили-Сталину? А кто стал первым хулителем Плеханова?..

Когда благородный раби вернулся в родные пенаты, неблагодарного ученика терзали сомнения: знает ли жертва истинного виновника? Прийти сразу не решался. Выждал несколько дней – слухов в городе нет. И сам дьявол толкнул его сделать еще один ложный шаг... Вот и пришел в наш дом на “разведку”, да обжегся...

До начала учебного года отец получил гражданский паспорт. По документам следствия городской отдел народного образования выплатил ему компенсацию за необоснованное заключение. Вернули в ту же школу, правда, уже не директором, а завучем: ведь отец не был коммунистом...

Я интересовался дальнейшей судьбой злодея. Он проработал директором еще два-три месяца и не выдержал – уволился, уехал в Махачкалу к сыну, который затем, в годы войны, за воровство был посажен да так и сгинул. Второй сын, проживавший в Дербенте, буквально через несколько месяцев, в разгар купального сезона, утонул в море. Говорили потом, что видели клеветника, совсем немощного, опухшего, опирающегося на палку, часто дремлющим на скамейке в парке на берегу моря...

“Не забывай – страдание твоей жертвы может обогреть твою душу, твою жизнь, твой покой”. Истинны слова Священного Писания. Если Бог милостив, пусть клеветник живет. Мир велик!..

Позади много горьких воспоминаний, но есть одно большое, страшное, оставившее неизгладимый след на всю жизнь. Это война!

Мне часто снятся сны, снятся самые загадочные явления. Иногда я плачу во сне, иногда сильно волнуюсь, вечно куда-

то спешу, вечно опаздываю. А то снятся кровь, выпавшие зубы, деньги. Постоянно вижу во сне свою добрую бабушку такой, какой она запомнилась мне с детских лет, и матушку, которая всегда и по каждому поводу беспокоится, даже во сне предупреждает об опасности. Бывали времена, когда я во сне летал по воздуху. Сны от имени Неба предупреждают: утром будь внимательным, осторожным... Бывает – приснится сон и забудется. А вот сон, приснившийся мне под утро 22 июня 1941 года, оказался вещим. С тех пор я стал верить снам.

Прошло уже более полувека, но помню все-все: старая наша квартира, где я родился; пол в комнате застелен красочным ковром. А дальше – широкая панорама моего родного города. Перед моим взором улицы, дома, зелень деревьев. Вижу все как наяву. И вдруг... с угнетающим тяжелым гулом непрерывно летят какие-то самолеты, и все бомбят и бомбят мой край. Рушатся здания, к небу поднимается густой черный дым. По улицам разрушенного города, еле волоча ноги, ходят убитые горем люди. Мне беспокойно, тревожно. Ковер, на котором я стою, качает меня из стороны в сторону, все вокруг ходуном ходит. В сильном волнении просыпаюсь... Бывает так: во сне жутко, а просыпаешься – все прекрасно. Но мое новое утро действительно оказалось страшным, незабываемым и по сей день.

Стояло жаркое лето. Как всегда в это время года, мы с утра пропадали на море. Возвращаясь домой мимо консервного завода, видим толпу людей у заводского громкоговорителя. Слышны последние слова наркома иностранных дел Молотова: “Враг будет разбит, победа будет за нами!” Слышен многоголосый шум толпы, кто-то в оцепенении подавленно произносит: “Война!” Кто-то: “Вот и подружились, докормили!” А большинство говорят: “Ничего особенного, Гитлера разобьют в два счета. Мы победим!”

Побеждали долго и мучительно. Было много потерь и слез, несчастий и трагедий, был холод и голод, было доста-

точно лжи и обмана. И эйфория победы – в ней правды было столько, сколько и яду...

Про Отечественную войну рассказывают тысячи книг, мемуаров, легенд, даже небылиц. Говорить о войне не буду. Попытаюсь без прикрас передать лишь два катастрофических события из жизни тыла в те драматические для всего народа годы – события, которые потрясли мое юное сердце.

О ленинградской трагедии давно знает весь мир. Только голод унес почти миллион жизней. Это миллион отцов и матерей, сыновей и дочерей, миллион тружеников, воспитателей и изобретателей. Это миллион несостоявшихся судеб, миллион надежд и желаний. Я же расскажу о печальной судьбе только двух прекрасных душ из этого миллиона.

Под безжалостной бомбежкой в суровые январские дни 1943 года из блокадного, измотанного голодом, холодом, вражеским свинцом трехмиллионного города по единственной ладожской “дороге жизни” шла открытая полуторка с двумя пожилыми женщинами-сестрами, волей случая оставшимися в живых. Чудом добравшись до Дербента, они были расквартированы у нас по разнарядке городского военкомата. Оказались они людьми исключительными, поражали необычайной щедростью души. Как и всем неработающим, им выдавали на карточки по четыреста граммов хлеба. Видя, что у отца большая семья и что мы живем довольно скудно, они, пережившие жестокий голод, себе оставили одну хлебную карточку, а вторую отдали нам. Когда возвращались с базара с небогатыми покупками, непременно угощали нас, детей, заявляя, что нам крайне нужны витамины... Искренне удивлялись, как отец выкручивается, чтобы прокормить такую семью, сочувствовали маме.

Как-то они заявили моим родителям, что, мол, скоро откроют второй фронт, закончится война, они вернутся в Ленинград и обязательно заберут учиться там мою старшую сестру или меня. Эти женщины поражали всех нас своей начитанностью, воспитанностью, общительностью. Я и не

знал, что бывают такие добрые, светлые люди. Каждая из них часами могла рассказывать много интересного об Александре Блоке, о семье последнего российского императора Николая II, о злоумышленном убийстве руководителя питерских большевиков Кирова. Много занимательного я узнал от них об Эрмитаже. Рассказывали с восхищением, эмоционально. Вспоминая о пережитом в блокадном Ленинграде, часто с тревогой говорили: “Мы не думали, что выживем и очутимся в далеком южном городке, под открытым ясным небом...”

Но вдруг однажды наши симпатичные постоялицы слегли, сразу обе, словно сговорились. Врачи напрасно пытались поставить беженку на ноги. Я старался чем-нибудь помочь бедным женщинам, почитал за счастье ухаживать за ними: ходил и за хлебом, и на базар, а когда им стало совсем плохо, и вовсе не отходил от них. Радовался, когда они просили подать полотенце, приготовить сладкий чай или отвар шиповника. Милые, деликатные, они улыбались, успокаивали меня, говорили, что благодаря такому уходу непременно должны поправиться. А может, это было и мудро, хотя они и чувствовали приближение смерти... На моих глазах обе сестры без страха, спокойно, в один день покинули белый свет, навеки закрыв свои усталые, глубокие глаза. Похоронили их скромно, на еврейском кладбище. Я так тяжело переживал их смерть, что сам слег, чем сильно напугал родителей.

Летом того же скорбного года я стал очевидцем самой дикой жестокости, потрясшей всех нас. Война – всеобщее бедствие, это несчастье прежде всего и ощутимее всего для отдельно взятого человека – мал ли, велик ли он. В этой горе и страдании каждого человека, каждой семьи, как в капле воды, отражается истинное лицо народа, общества.

В войну все жили плохо. Наша многодетная семья особенно это ощущала. Не дай Бог видеть картину семейного голода, да еще когда на улице мороз. Нет ни керосина, ни дров, ни угля... Бывало, что наша семья брала хлеб по карточкам на день-два вперед, и к концу месяца, естественно, не на что

было отовариваться – мы оставались без основного нашего продукта. Так и жили шесть беспросветных военных и послевоенных лет. В иные дни дома не было ни крошки съестного. Отец приносил два-три стакана семечек подсолнуха, каждый стоил десять-пятнадцать рублей. А работал он один, получая 1100 рублей. Так что семье из десяти душ два последних дня голодного месяца приходилось грызть семечки. Я вспоминаю потрясающий момент за столом: в тарелке жареные семечки; мы, дети, моментально расхватываем их. Отец за столом почти не сидел, находил повод, чтобы встать и за чем-нибудь выйти. И мама подолгу держала семечко в зубах, вроде бы никак не могла разгрызть его. Видя это, я не выдержал и спросил: “Чего же ты тянешь?”

Боже мой, что значит – дети... Понять ли им сердце матери, родительскую любовь, самоотверженность...

Так же, если не хуже, жила семья тети Ханы (сестры матери), правда, за столом у них на одного едока было меньше.

Из далекого горного села в Дербент приехал давний друг семьи тети, привез на продажу свой картофель. Торговал несколько дней. За это время успел заметить полуголодную жизнь семьи друга и решил как-то облегчить ее положение, предложив на время каникул забрать к себе в аул одного-двух ребятишек. Тетя Хана и ее муж, дядя Исраэль, больше всех из детей любили самую младшую – восьмилетнюю дочь-второклассницу. Она была любимицей всей родни. Ждали ее родители довольно долго. Каждый полтора-два года тетя Хана дарила мужу одних мальчиков – их уже было пятеро. И вот после двенадцати лет совместной жизни родилась долгожданная девочка. Она была на удивление красивой, и имя ей дали подходящее – Эстер. Девочка росла под защитой своих братьев смелой, независимой, гордой. У нее, как у отца, были огромные голубые глаза, светлое, чуть матовое личико. От матери она унаследовала цвет волос. Черные ресницы, дугообразные брови, локоны шелковистых волос плавно спадали на нежные плечи. Питая к ней осо-

бую любовь, переживая, что и на каникулах в городе ее ждет мало радости, тетя решила отправить Эстер подышать горным воздухом. Друг дяди не пожалел денег, на базаре купил сладостей, чего-то еще и, договорившись с воинской частью насчет машины, решил ехать наутро.

Не прошло и двух дней, как по городу поползли слухи о том, что недалеко от крепости по северной дороге видели трупы мужчины и девочки. Слухи были до того упорны, что поневоле закралась мысль: “Не наши ли?” Страх зародился – так и будет беречь душу. На рассвете следующего дня тетя Хана со слезами умоляла нашу маму немедленно пойти с ней за город: мол, она видела дурной сон – якобы все волосы у нее на голове выпали. Мать разбудила отца и меня. И вот мы, да еще муж и сыновья тети, удрученные, спотыкаясь и почти падая, поторопились выйти на дорогу, ведущую в село. Тетя начала причитать, едва вышли за город. Вдоль автострады с обеих сторон были вырыты длинные траншеи – оборонительные сооружения в северной части города. Первым, увидев в траншее вздувшийся человеческий труп, зашелся в надрывном крике Ешуа, мой ровесник, двоюродный брат. Еле сдерживая слезы, крикнул: “Они здесь!” Все кинулись туда... Да, это был дядин друг, с посившим лицом, в грязных брюках и рубашке из шотландки. В открытых глазах – застывший ужас.

Растерянные, мы двинулись дальше, подошли к траншее на противоположной стороне дороги... Шагах в десяти от нас, в белом летнем платье, с вытянутыми вперед ручками, лежала Эстер. Я первым прыгнул в траншею. На затылке ее – сгусток запекшейся, потемневшей крови... Неужели стреляли в спину? Что же здесь произошло? Тела вытащили. Дядин друг был убит выстрелом в висок. Бедная Эстер... Почему пуля попала ей в затылок? Почему она лежала так далеко от дяди? Верно, увидев необыкновенную детскую красоту, вооруженный негодяй на какое-то время пожалел ее. И она побежала, стала кричать, испугавшись...

И тут в убийце заговорило звериное чувство, и человек, превратившись в хищника, решил не оставлять в живых маленькую свидетельницу...

Подожли остальные. Тетя Хана издали увидела белое платье. Спотыкаясь и падая, обезумевшая, на четвереньках ползла она к своей судьбе. До меня донесся лишь жуткий нечеловеческий вопль – и больше ничего...

Кто-то побежал в город за транспортом, кто-то – звонить в милицию. Удрученный происшедшим, я не сразу заметил, как к нам, держа коня за уздечку, бесшумно подошел мужчина средних лет. Одет он был по-крестьянски, скудно. Видимо, его заинтересовало, что могло случиться здесь, на окраине города. А увидел он страшную картину: женщины рвали на голове волосы, били себя по щекам; горестно рыдали мужчины. Тут же на земле в окровавленных одеждах бездыханно лежали лобастый горец и удивительной красоты девочка-подросток.

Подошедший вздрогнул, засопел, одной рукой с землистым оттенком кожи прикрыл он глаза, другой судорожно стал гладить морду своего коня. Я заметил, как из пугливо выпученных глаз его четвероногого друга тоже покатались слезы...

В это время остановили военную машину. “Студебеккер” забрал всех – и сраженных пульей, и убитых горем... О случившемся уже знал весь город. Прибыла милиция, вызвали “скорую”.

Установили, что оба убиты из пистолета. Кто убийца? Ответили, что жертв везла в село машина из воинской части. Работники милиции и старшие в доме, до предела взвинченные, пошли в часть. Позвали туда служащих из военной комендатуры города. Убийцу нашли быстро. В гараже, где стояла его машина, обнаружили крупную сумму – восемнадцать тысяч рублей, часы “анкер”, сумку и рабочую одежду самого водителя. Мы его видели – курносый парень, невысокий лоб, рыжий, здоровяк. Ни на кого не смотрел, молчал, был бледен, растерян. Взяли его под стражу на второй день.

Вся родня была занята похоронами. Ждали приезда и родных убитого дяди Ильяу. В похоронах участвовал весь го-

род. Пришли выразить соболезнование и из артиллерийской части. Сообщили, что убийцу будет судить военный трибунал корпуса. Мы настаивали, чтобы суд состоялся непременно в Дербенте, требовали, чтобы советского фашиста расстреляли по законам военного времени...

Тетя Хана не приходила в себя. Сидит, молчит... Куда-то зло смотрит... Даже плакать не могла – выплакала все слезы.

Командование части вызвало из Сибири родителей убийцы. Выглядели они измученными, несчастными. Отца, почти без зубов, шепелявившего, трудно было понять. Несчастная мать на коленях умоляла пощадить ее сына.

Эх, благородный мой род! Нам стало жаль родителей убийцы! Они оставили дома целую ораву детишек и как сумасшедшие, где машиной, где поездом, две недели добирались в Дербент, чтобы повидаться со старшим сыном, который здесь, в тылу, оказался страшнее немецкого оккупанта...

Военный трибунал решил бывшего старшего сержанта Лигаченко Владимира, 1924 года рождения, направить в штрафной батальон действующей армии. Как раз в эти дни под Моздоком, на левом берегу Терека, шли ожесточенные бои...

Надвинулась новая беда. Тетя Хана отказывалась есть и пить. Ее положили в больницу, где поддерживали лишь глюкозой, кололи прямо в вену...

Тетя лежала в больнице до возвращения среднего сына. Его демобилизовали как раз к новому году. Военкомат помог построить дом. Матери выделили отдельную комнатку. Дожила она до шестидесяти лет. После смерти своей милой доченьки пережила и гибель старшего сына, уже после войны, и уход из жизни мужа. Он, пока был жив, обвинял себя в смерти дочери, болезни жены... Не выдержав гнета на душе, стал пить и в пятьдесят три года умер.

Когда я уже учился в университете и дважды в год приезжал в Дербент на каникулы, мы вместе с мамой навещали добрую тетю Хану. Она меня не узнавала. Смотрела, но не видела – глаза пустые. Иногда нам казалось, что сознание

ее пробуждается, что она приходит в себя. В это время, как бы ища потерянное, она произносила то имя старшего сына – Сафаньё, то имя Эстер...

В один из зимних вечеров пришла телеграмма: “Тетя Хана в тяжелом состоянии, срочно вылетай”. Когда я прилетел, тети в живых уже не застал. Меня ждали, чтобы я мог проститься с ней. Я смотрел на свою дорогую тетушку: лежит тихо, смиренно. Не скажешь, что эта женщина когда-то лишилась всего того, чего человека лишать не должны... Если всмотреться, заметно только, как она устала... Как похудела, лицо восковое... Сколько помню, она толком-то и не видала радости, если не считать тех недолгих отрадных дней, когда родилась ее прекрасная доченька, ее роковая судьба...

Много времени прошло с тех пор, а я, живущий, испытываю чувство огромной вины перед тетей, потому что не сумел облегчить ее страдания. Рано осиротевшая тетя Хана, став матерью, дала слово Всевышнему посвятить всю себя детям. Ее многотрудная материнская жизнь обернулась трагедией. Словно какой-то рок витал над ее головой – неужто за чрезмерную любовь, за данный обет?..

Не успел я при жизни тети от души поговорить с ней. Поэтому обращаюсь к ней со следующим посланием: “Дорогая тетя Хана! Пишет тебе старший сын твоей сестры Пурим. Ушла ты из жизни, не прожив и половины человеческого века. С тех пор на планете произошли большие перемены. Кончилась война с проклятым Гитлером и кичливой Японией. Много, ох как много народу ушло в царство небесное. Но ты там не одна, рядом отец и мать, а теперь уже и Эстер с тобой. Там же и душа старшего сына твоего Сафаньё. Прах его покоится в Дрездене, есть такой город в Германии, он освобождал его от фашистов. Нынче там все изменилось к лучшему, сам Господь на их стороне. А помнишь, как отца твоих детей, совсем молодого еще, немцы, взяв в плен в четырнадцатом году, отпустили домой? Да еще и языку немецкому обучили. А вот немцы сороковых годов

сына твоего не пожалели, убили подло, из-за угла, когда война закончилась. Напомню тебе о последнем благородном поступке Сафаньё. В мае сорок пятого он прислал из Берлина посылку. В ней было много сладостей, консервов и два необыкновенно красочных куска ткани тебе и сестричке Эстер. Когда тебе об этом говорили, ты уже не реагировала... За оставшихся здесь не тревожься, душа твоя пусть не болит. Сын Ешуа, у которого ты жила почти пятнадцать лет, уже на пенсии. У него славная семья, дети, внуки. Борух, твой средний сын, – в Израиле. Сын Бенцион живет и здравствует с семьей в России. А самый младший – Хануко – остался в древнем городе дедов и отцов наших. Да, чуть не забыл. Внук твой Симха вернулся из Афганистана невредимым. Мы держимся, хотя царства справедливости и рая здесь, на Земле, так и нет. Прошу тебя, не бреди свою душу, будь спокойна, мы часто поминаем тебя и всех ушедших родных. Почитающий тебя твой племянник...”

Я уже заканчивал первый курс университета, когда ночью по радио объявили о полной капитуляции гитлеровской Германии. Вспоминаю свои дневниковые наброски тех лет. Тогда я записал: “Как хорошо, что пришел конец бессмысленной бойне. Отныне надо опасаться одного: не начнется ли полоса жизни, которая отбросит нас на многие годы назад?”

Выходит, тогда, еще совсем мальчишкой, я интуитивно понимал возможные нравственные последствия бесчеловечной войны, которые отразятся на судьбах всех народов, каждой семьи, каждого из нас...

Хотелось бы обратиться с полным волнения посланием в Вечность и в мир земной – в наш беспокойный мир, и конкретно к тем, от кого зависело, зависит и будет зависеть все живое, человеческая жизнь: “Сколько же за свое существование неблагоприятное человечество, и особенно мое Отечество, потеряло... Сколько загубленных душ, измученных сердец и разбитых семей, сколько людского горя и слез... Сколько разрушено жилищ, сел и городов, сколько загублено лесов и рек,

земель и скота... Кто это считал? Да и найдется ли такой счетовод? А если сосчитает, что с ним будет?

Насилие, война – беда разума. У войны два лица: кажущейся победы и горечи поражения. И сегодня все отчетливее видны незажившие кровоточащие раны на теле человечества.

Вопрос вовсе не риторический: “Нужна ли война?” Всякий ответит однозначно. Но в таком случае – кому она нужна? Тиранам, президентам, полководцам, многих из которых мы, не боясь Бога, именуем великими? Чего добился Гитлер? К чему привел Сталин? Хрущев, инициатор политической оттепели, не устоял перед соблазном “насолить империализму”, решил показать свой оскал новочеркасцам. Брежнев испугался, что доверенный ему меч заржавеет... Как могло случиться, что в древней Палестине двадцать веков назад были убиты Иисус Христос и его поклонник Лазарь? И на чьей совести умерщвление – уже в нашем, двадцатом веке, в цивилизованном обществе, проповедника Александра Меня и его единомышленника отца Лазаря? (Конечно же, невероятно, что первое и второе преступления совершены на бытовой почве. Уверен: убийство блестящего проповедника А.Меня – хорошо продуманное преступление. Это грязная, безнравственная политическая сделка главных выразителей двух влиятельнейших, но диаметрально противоположных идеологий. Одному популярный ученый-богослов Александр Мень был как бельмо на глазу, а другому в самое критическое время правления понадобилась всемерная поддержка “праведника” Владыки. Вот и вся истина.) Не наступает ли преждевременный маразм не успевшего еще одряхлеть человечества? Может ли пощечина быть приятнее рукопожатия? Топор – слаще хлеба? Неужто печалиться лучше, чем радоваться? Или смерть дороже жизни? Возможно ли, чтобы палач знал больше, чем мудрец? Неужто нужно так много ума, чтобы понять простую истину: насилие противостоит естественному, преступно! Насилие даже против одной личности – это насилие против многих, против всего человечества!

Чужого горя не бывает. Слезинка ребенка не стоит бриллиантового кольца, подаренного одним несостоявшимся лидером известному репортеру за его верноподданническую службу. Не обагрят ли кровью это кольцо руку, а то и душу? И принесет ли оно счастье в дом, где хранится?..

Кто в силах (и в силах ли будет?) взвесить судьбу живущих на весах правосудия, на одной чаше которых милитаризованный “прогресс”, а на другой – нищета человеческая, горе материнское, погубленные надежды...

Откуда же злодейство! Кто главный злодей? Главный и неглавный тиран? Какая мать могла родить его, каким молоком вскормила? Или в человеке все же больше животного, вернее, звериного, чем человеческого...

Появление сексуального маньяка-убийцы из Ростова, лысого Андрея Чикатило – ярчайшее подтверждение тому, что создавало советское общество после Октября семнадцатого года, и на кого опирался коммунистический режим, ставивший задачу выковать “особенную физиономию” нового человека...

Отличительная черта землян и в частности людей моего большого века – лицемерие, обман, насилие. Все это, став свободным и возможным, превратилось в основное ремесло миллионов как неотъемлемая часть деятельности человека.

Если мы еще не потеряли рассудок, зададим себе вопрос: “Кто в ответе за все, что случилось до нас, что происходит при нас, что будет после нас?” Не грядет ли век, когда человека станут заносить в Красную, а вернее, в Черную книгу? Вот и разберись, мой высокочтимый адресат, кто же он – человек? Кто мы?..”

Сколько существует человечество, оно не знало покоя по своей же вине. История моего родного края тому подтверждение.

Мы все вышли из мудрых детских сказок. Почему же, повзрослев, мы становимся антигероями, сеющими смерть и опустошение...

Вот с такими думами ехал я после окончания десятилетки поступать в Азербайджанский университет.

ДИАЛЕКТИКА ОБМАНА

Вся семья пошла провожать меня на вокзал: и взрослые, и малыши, да еще тетя Майром со старшими детьми. Я даже друзьям не говорил об отъезде, ибо не очень был уверен, что поступлю, – чего же раньше времени хвастаться.

Отец, высокий, статный, весь седой и страшно худой, шел молча. Мама и радовалась, что я окончил десятилетку, возмужал и еду учиться, и волновалась, что впервые один покидаю родительский дом. По привычке она все торопилась, кровь прилила к ее бледному лицу, щеки необычно разрумянились. Году, самому младшему в семье, которому в марте исполнилось три года, никак не удавалось идти с мамой в ногу, а она, державшая его за руку, спешила, вся в думах.

Вот и вокзал. Время было военное, билеты в кассах не продавались, пассажирские поезда ходили редко и не всегда регулярно, хотя бои уже не велись на советской территории. Чаше шли спецпоезда да военно-санитарные. На юг перевозили раненых, а обратно следовали литерные составы с вооружением, боеприпасами, под охраной молодецких стройных бойцов – уже в погонах и с автоматами. Все было укрыто серо-зелеными чехлами, а на гаубицах, минометах, зенитках и дальнобойных орудиях торчали для маскировки жиденькие ветки с пожухлыми листьями.

Наконец после полудня подошел санитарный поезд, такой длинный, что и хвоста его не было видно. В полураскрытых окнах вагонов заметны были съемные полки-носилки, оттуда выглядывали солдаты и офицеры с перевязанными головами, руками. С подножек вагонов осторожно спускались раненые: кто сам, а кого вели пожилые медбратья и молоденькие сестры милосердия в белых халатах. Одних высаживали, других подсаживали (в нашем городе действовал крупный госпиталь, размещавшийся в двухэтажном здании бывшего педучилища).

Отец вместе с дежурным по станции пошел искать начальника поезда. У десятого вагона стоял военврач, полковник. С ним нужно было договориться, чтобы меня взяли до Баку. В Дербенте поезда стояли долго, не менее часа. Отец и военврач сговорились, мне указали вагон – для врачей и obsługi. У мамы по щекам поползли слезы. Дети засуетились. Я стал улыбаться, покровительственно успокаивать мать, говорил, что буду часто приезжать домой, что она с отцом сможет навещать меня...

Какой-то человек в халате, без знаков отличия, грубо, отрывисто потребовал, чтобы я поднялся в вагон. У меня был не очень старый фанерный чемоданчик. В нем лежали мое полупальто, выглаженное белье, носки, фуражка, галоши. Все старенькое, но свежее, вполне сносное. Много книг, школьных сочинений, личный дневник, сшитый из нескольких тонких тетрадей. Мама уговорила меня взять мешочек сухарей, колотого домашнего сахара – чтобы хоть первое время не голодал, если не поступлю учиться. А так вся надежда была на то, что мне поможет папина младшая сестра тетя Наоми, работавшая в Баку врачом. Папа внушал мне, что тетя должна помочь, в то же время подчеркивая, чтобы я и сам проявлял инициативу.

И вот я уже в тамбуре. Поезд дрогнул и тронулся с места. И тут я увидел, как судорожно, как-то странно задержались плечи отца – не удержался, заплакал. По его щекам

текли слезы, а он их, кажется, не замечал, как будто они помогали ему смывать тяжесть с сердца. Таким я видел отца второй раз; первый – когда умерла его мать, моя бабушка. К слезам матери я как-то привык, но к отцовским... И в голову никогда не приходило, что так вот может получиться. Защемило сердце, до боли стало жалко отца, подумал еще: может, ошибаюсь, оставляя его? Неужели отец волнуется, беспокоится, думает, что теряет меня? Набрав полные легкие воздуха, я изо всех сил закричал: “Папа, милый, дорогой, я, твой старший, уже взрослый! Не волнуйся, все будет хорошо, скоро встретимся!” Глаза мои наполнились слезами, готовыми оросить отцово поле... Я чувствовал, как дорог отцу. Он меня не просто любил – в наших отношениях было нечто более значительное, чем обычная связь между отцом и сыном. Относился он ко мне бережно, с уважением и непонятным мне тогда почтением. Он никогда на меня не повышал голоса. Если я что-то говорил или высказывал свое мнение, он одобрял, соглашался. Порой я даже чувствовал, что отец меня не только уважал, но где-то и стеснялся...

Вокзал остался позади. Я зашел в вагон, встал у окна. Поезд мчал меня на юг, в другую республику, в почти миллионный и разноликий Баку. Мимо мелькали низенькие дома, зеленые шапки деревьев. Сады, сады, бесконечная цепь гор... В экстазе, обращаясь к родным горам, я громко сказал: “Даю вам слово, что буду стараться жить и учиться достойно, все делать так, чтобы приносить отцу только радость и никогда не печалить его”.

Так и простоял у окна до станции Дивичи – почти три часа. Стало прохладно. Я прошел на отведенное мне место. Вагон был типа плацкартного. Несколько проемов были завешены простынями. По проходу то и дело сновали очаровательные пухленькие медсестры в своих белоснежных халатиках. Казалось почему-то, что своим независимым видом,



Баку. Девичья башня.

удивительными ножками в мягких коротких сапожках они специально меня дразнили. Когда кто-нибудь из них проходил по вагону, я машинально поворачивал голову в ту сторону. Смотрел на них с каким-то ожиданием. Правда, меня они не замечали, наверное, считали молокососом, незрелым юнцом.

“Ну и Бог с ними, пусть думают, что хотят”, – сделал я для себя вывод.

У проема, где я сидел, остановилась врач в капитанских погонах – худющая, нос как фундук, губы припухшие, но – чудесные огромные серые глаза. Я смотрел на нее, не зная, что сказать и как себя вести. Она исчезла так же внезапно, как и появилась. Вскоре одна из медсестер “по поручению замначальника поезда” принесла мне постельное белье. Подошла и сама врач, спросила, кто я такой и куда путь держу. Сначала она показалась мне злокой, а оказалась доб-

рой женщиной, даже прислала с медсестрой кружку очень сладкого чая и большой кусок белого хлеба с отварным ле- щом. Мне стало крайне неловко за свое первоначальное мнение о ней. Несомненно, у нее самой были дети.

К вечеру объявили, что подъезжаем к Баку. Стояли уже на станции Баладжары. Хорошо помню, что здания показались мне внушительными, строгими, до жути серыми. Вся территория вокзала была застелена какими-то прогнившими досками. Складывалось впечатление, что никому нет дела до того, чтобы привести вокзал в более пристойный вид. Но вот наконец подъехали к заветному городу, который должен был определить мою дальнейшую судьбу.

Баку я совсем не знал, хотя приезжал сюда с отцом несколько раз, но был я тогда совсем маленьким – лет пяти-шести. Отец дал мне адрес дальней родственницы. Прямо с Сабунчинского вокзала я пошел искать ее. Жила она не очень далеко, километрах в полутора. На следующий день ее дочь Сарра отвела меня в госпиталь, где работала тетя Наоми. Я, конечно, точно с неба свалился к ней на голову, но делать было нечего – сын ее брата. Она накормила меня и велела прийти после обеда, к тихому часу. чтобы поговорить более подробно и конкретно. Видно было все же, как она растерялась...

Я рассказал тете, что окончил десять классов и хочу учиться дальше. Она, кажется, удивилась, что я уже дорос до того, чтобы поступать в высшее учебное заведение. Впрочем, мы с ней редко виделись и еще реже переписывались. Жила она одиноко, к нам в Дербент приезжала года два тому назад, когда умерла бабушка. Побывала три дня и уехала. Да и время было суровое – война, боялись, что гитлеровцы вот-вот ворвутся в Дагестан.

Тетя с ходу решила устроить меня в консерваторию, она хотела, чтобы я стал скрипачом. Оказывается, она всю жизнь мечтала, чтобы в нашем роду появилась музыкальная зна-

менитость. Засмеявшись, я сказал, что не только играть не умею, но даже не знаю, как нужно держать скрипку, и что мне медведь на ухо наступил. И очень серьезно посоветовал ей: “Когда у тебя будет сын, пусть он и занимается скрипкой, а я хочу поступить в университет и стать историком”. Добавил еще, что если нарушаю ее планы, то “виновата” ее же мама, которая с детства привила мне любовь к истории. Мои доводы оказались достаточными, чтобы она согласилась, даже всплакнула... И тотчас же, не протерев повлажневшие глаза, стала названивать своим друзьям. Какая-то Бибиханум тут же участливо отозвалась, сказав, что все разузнает и тотчас же позвонит. Тетя стала звонить еще одной подружке по имени Ксения, потом кому-то еще и еще, и всем с гордостью говорила, что к ней приехал племянник, сын единственного брата, и что он хочет поступать в университет “на историка”. Горячее стремление тети помочь мне заставляло верить, что поступлю наверняка. Но вот перезвонили и Бибиханум, и Ксения. Кстати замечу, что впоследствии первая захочет, чтобы я, “еще неиспорченный молодой человек”, стал ее зятем, а со второй у меня завязался легкий шаловливый роман...

На следующий день я пошел к председателю исполкома Центрального районного Совета депутатов трудящихся. Он при мне позвонил ректору университета Мамеду Алиеву. Состоялся короткий разговор. Я даже испугался, что дело сорвется... Эх, зря я вчера так самоуверенно рассуждал о своем будущем. Но вот председатель объяснил мне, куда и как добраться. Я не стал медлить, тут же отправился в университет. Ректор принял меня без задержки, спросил, на какой факультет я хочу поступать. Я ответил, показал свой аттестат, отзыв школы, написанный на половине листочка. Он внимательно просмотрел оценки, проверил подпись и печать, потом молча, медленно достал из ящика письменного стола чистый бланк ректора и написал: “Тов. Амиров! Подателя записки надо сегодня

же допустить к приемным испытаниям по всем предметам для оформления на истфак. 30/IX-44 г. М.Алиев”.

Так я стал студентом первого курса исторического факультета Азербайджанского государственного университета имени Кирова. Этот день считаю самым удачным, самым счастливым. Я даже почувствовал, как сразу возмужал, в полном смысле слова сделал серьезный шаг в будущее... В тот же день, после занятий, отправил родителям радостную телеграмму. В конце впервые открытым текстом приписал: “Сомной Господь Бог”

В честь этого события первый раз в жизни попробовал полную кружку подогретого бакинского пива с горсткой вареного подсолненного гороха. Тетя Наоми от своего признательного и благодарного племянника получила красивый, яркий букет роз. С тех пор розы – самые любимые мои цветы.

Тетя жила одна в небольшой комнате. Она посоветовала мне устроиться в общежитии (тогда я еще не знал, что за ней ухаживал ее будущий муж). В общежитии меня поселили в помещении, где стояло пять коек, вручили хлебную и продуктовую карточки, которые давали возможность ежедневно получать пятьсот граммов серого хлеба и каждый день обедать в столовой университета. Надо отдать должное поварам: обеды были весьма удовлетворительные, из трех блюд, а самое главное – недорогие, ценой около трех рублей. В ресторанах и кафе такие обеды обошлись бы в десять-пятнадцать рублей. Стипендия на первом курсе полагалась 240 рублей, так что после дербентской жизни здесь учиться и жить было можно.

Однако, проведя в общежитии всего два дня, я совершенно неожиданно был потрясен событием, нанесшим мне болезненный удар. После занятий, войдя в комнату, заметил, что мой чемодан, находившийся под кроватью, небрежно сдвинут. В комнате никого. Стал осматривать чемодан – все в нем оказалось разбросано – ни сухарей, ни сахара, кото-

рые дала мне перед отъездом мама. Я так и сел на кровать. Было не только обидно, но и стыдно, и горько, что в общежитии университета могло такое случиться. Я был так расстроен, что не хотел и минуты оставаться здесь. Вышел на улицу. На душе было невыносимо грустно. Сразу почувствовал – я один, и никого рядом нет... А неизвестного мне воришку почему-то пожалел, подумал, что если бы он попросил, коль уж так нуждался, я обязательно поделился бы с ним. Да на радостях, что поступил учиться, я отдал бы все. Но почему так, втихую, по-воровски? Вернулся опять в комнату – может, кто заглянет, покажется. Нет, оставаться одному не хотелось. Снова вышел на улицу и направился к университету. У входа за столиком сидела женщина-вахтер. Решил разузнать, нельзя ли где снять комнатку, стал объяснять ей, что живу в общежитии, но заниматься там нет условий, не поможет ли она подыскать угол. Женщина оказалась очень разговорчивой и душевной. Сказала, что угол или комнату найти можно, сейчас многие сдают койку, а то и комнату офицерам, студентам, особенно одиноким. Можно найти и недалеко отсюда, на Советской улице. Разъяснила, что напротив университета есть остановка трамвая номер два, которым можно доехать до частных домов. Я тут же задумал осуществить свое желание. На остановке спросил у пожилой женщины с коротко подстриженными волосами, как добраться до Советской. Она ответила, что сама туда едет.

Так я познакомился с тетей Шурой, у которой и снял подходящую комнатку, размером примерно такую же, как у тети Наоми. Переехать решил немедленно, не откладывая. Забрал из общежития свои вещи и ушел. Когда прибыл, тетя Шура уже успела комнатку мою прибрать, навести порядок и чистоту, занесла железную кровать, застелила постель. Здесь же были стол, две табуретки, шкафчик-полочка кустарной работы. Дала мне ключ. Договорились, что поначалу я ей плачу пятьдесят рублей в месяц, а когда пойду рабо-

тать – буду платить больше. Это было совсем недорого, если учесть, что килограмм черного хлеба на рынке стоил сто – сто двадцать рублей.

Хозяева мои – тетя Шура и дядя Сергей – оказались замечательными людьми. Прожил я у них три года – до переезда в Ташкент. В этой комнате я услышал весть об окончании долгой и жестокой войны. Сюда приезжали навестить меня родители. Здесь частенько до рассвета я засиживался над книгами. Здесь прочитал произведения гениального Пушкина, обличителя бездуховности Гоголя, великого страдальца Толстого. Под строгим секретом мне доводилось брать на ночь запрещенные в те годы произведения Достоевского, Есенина, Ключевского, Соловьева, очерки об Иване Грозном. Прочитал книгу Троцкого “Десять лет Октября”, лекции Бухарина, историко-биографическую справку о Ленине (составленную близко знавшим его меньшевиком, эмигрировавшим из охваченной гражданской войной России) и многое другое. Здесь же я впервые прикоснулся к Священному писанию в русском переводе – к Ветхому и Новому Заветам.

Основными моими “поставщиками” редких книг были фундаментальная библиотека Академии наук Азербайджана, республиканская библиотека им. Ахундова, университетская библиотека. Для меня, провинциала, посещение этих книгохранилищ, музеев истории и этнографии, искусств, имени Низами, театров, филармонии было равносильно открытию неизведанного мира чудес. Очень многим обязан я книгам, прежде всего тем, что они делали меня человечнее. Именно в эти годы я стал лучше понимать себя и окружающих. Меня все больше интересовал человек, его мысли, взгляды на мир. Я мог часами наблюдать за людьми, смотреть в далекое безбрежное море, на вершины гор, наблюдать за движением облаков, похожих на огромные живые существа, за далекими звездами. Мне нравились люди умные, добрые, участливые...

В этот укромный мой уголок приходили и однокурсницы, милые, красивые девушки, искренние в дружбе, учебе, жизни. Сюда заходили эвакуированные в годы войны мои ровесницы – подававшая большие надежды поэтесса Наташа Маршева из блокадного Ленинграда, с бирюзовыми глазами, темпераментная Ольга Тышковская из Львова, обаятельная Люба Барышева из Талдома...

Образовалось маленькое общество понимающих друзей, жаждавшее духовности. Вместе писали курсовые работы, предметные рефераты, обменивались конспектами лекций. Бывали у нас не только прекрасные вечера соревнования умов и характеров, юмора, споров, но и свойственные молодости первые трепетные ласки, робкие и нежные поцелуи, провожания до рассвета. Была пора веселой и беспечной юности.

На дощатом полу, до блеска вымытом, я познал прелесть и сладость первой любовной близости. Это было внезапное испытание человеческих чувств, взлет души в неизведанный доселе мир, неизвестная радость, великое счастье...

Бакинская комнатка оказалась для меня на удивление счастливой. Где бы я ни жил потом, снятся мне этот дом, комнатка моя, дарившая столько радостного, возвышенного... И когда увижу ее во сне, обязательно сопутствует мне везение, успех... Так хотелось, чтобы эти сны повторялись и повторялись...

Бакинская жизнь стала для меня второй школой – школой становления личности, подготовкой к зрелости. Когда я сказал, что хочу подработать, дядя Сергей подал мне идею – заняться продажей газет. Вскоре я договорился с продавцом киоска “Союзпечати”. К концу торговли он давал мне полсотни-сотню нереализованных газет. В то время каждая газета стоила пятнадцать копеек. Оптом я брал их по тридцать копеек, нес на колхозный рынок и оптом же продавал частнику – уже по полтиннику. Тот, в свою очередь, прода-

вал их по рублю посетителям рынка, бравшим газеты на обертку. Так у меня появилось доходное дело: я ежедневно зарабатывал по десять-пятнадцать рублей. И уже мог неплохо питаться, даже бывать в приличном кафе. Умудрялся еще одеваться, обуваться, ходить в театры, кино, музеи, покупать нужные книги. Учебе работа не мешала, учился я прилежно, предметы давались легко, выручала память. Много значили усидчивость, напористость. А самое главное – я избавил родителей от забот и переживаний за меня. Приезжая в родительский дом на каникулы, всегда привозил подарки – бакинские чувяки, отрезы ситца, батиста, фильдеперсовы чулки. Один раз даже привез азербайджанские национальные головные платки “келегаи” матери и обеим теткам. Тогда же появилась возможность платить за комнату уже по сто рублей. Но мои добрые хозяева до того были благородны и щедры душой, что если и брали сто рублей, угощали на все двести. В трудные военные и послевоенные годы в огромном городе мне посчастливилось жить одной семьей с этими добросердечными людьми. Дядя Сергей был отставным офицером после русско-японской войны. Его первая жена в восемнадцатом году уехала в Финляндию вместе со своими родителями, оставив революционный Петроград. А он жил один в бушующем страстях Ленинграде до 1927 года, – как раз в это время в Ленинград, после ожесточенной борьбы с зиновьевской группировкой, прибыл из Азербайджана Киров. Дядя Сергей, уже немолодой и не имевший специальности, работал делопроизводителем на городской бирже труда. И в соответствии с тогдашним принципом “лес рубят – щепки летят” оказался под подозрением у властей. Его сослали в далекий Азербайджан. Когда дядя Сергей бывал под хмельком, он напевал шутиливую песенку:

*В Ленинград был прислан
Сергей Азербайджанский.*

*В Азербайджан был сослан
Сергей Петроградский...*

Надо отдать ему должное: несмотря на солидный возраст (когда мы познакомились, ему было уже семьдесят три года), он еще очень прилично пел и играл на балалайке. Голос у него был тонкий, старческий, дрожащий, но приятный. Закончив петь, он очень мило и застенчиво улыбался, наблюдая за реакцией слушателей. Был весьма образован, начитан, имел неплохую библиотеку, которой я пользовался с жадностью. Здесь я нашел немало книг русских и зарубежных писателей, почти все дореволюционных лет издания. Было там также много политических материалов, бюллетеней съездов и пленумов большевистской партии за 1923–1927 годы, подшивки газет “Известия”, “Бакинский рабочий”, “Вышка” за 1928–1940 годы.

Дяде Сергею я обязан многим. После знакомства в Дербенте с сестрами-ленинградками и встречи в Баку с ним, я еще раз убедился в том, какие живут на Руси простые и добрые, великодушные и интеллигентные люди. Дядя Сергей сам уже не читал – плохо видел. Когда что-то мастерил, надевал очки. Мое увлечение книгами заметно радовало его, и каждый раз щеки его румянились, тускнеющие глаза загорались.

У них тоже были продуктовые и хлебные карточки, на которые они получали ежедневно по 350 граммов хлеба. У дяди Сергея – 220 рублей пенсии, а у тети Шуры – вдвое больше, чем у мужа. Как они жили, понятно и без лишних слов. Но глава семьи наловчился мастерить детские балалайки. Делал их из фанеры и обычной тонкой проволоки, красил слабым чернильным раствором. Ежедневно мастерил по три балалайки, а иногда и по пять. Каждое утро ходил на “толкучку”, благо она находилась недалеко от дома, и продавал по пять рублей за штуку. Покупатели находились, так как в те годы детских игрушек в магазинах Баку почти не

было, продавали их в основном кустари-одиночки. Дядя Сергей приносил домой до трехсот-четырехсот рублей в месяц.

Тетя Шура была его второй женой. Он ее встретил уже здесь, в далеком 1927 году. Вместе работали на деревообделочном комбинате нэповского времени. Она была обыкновенной русской женщиной, очень простой, в разговоре прямой и откровенной. Еще молодой приехала из Юзовки (ныне Донецк), спасаясь от гражданской войны. На Советской улице дали ей эту квартирку в коммунальном двухэтажном доме из сырцового кирпича. Сюда к ней и переехал “Сергей Петроградский”. Детей у них не было, и, наверное, поэтому так бережно, чутко они относились ко мне. Тетя Шура готовила очень вкусные первые блюда – борщ, щи зеленые, аппетитные фасолевый и гороховый супы на подсолнечном масле. Когда бы я ни возвращался домой, она меня всегда кормила супом со словами: “Ты мужчина – горячее тебе необходимо”. Если в доме появлялось пиво (а дядя Сергей его обожал), не бывало случая, чтобы и мне не перепал стаканчик-другой... Моим родителям они говорили: “Мы вашего сына любим. Он очень внимательный, ласковый. Зачем это он едет к вам на лето – у вас и так много детей. Пусть здесь отдыхает, здесь море...”

Когда ко мне приходили друзья, мои опекуны от души радовались и гордились. Считали, что раз ко мне приходят, значит любят. Правда, я дружил в основном со студентами. Любил девушек, а особенно красивых. В те годы в университете парней училось очень мало, главным образом фронтовики – раненные, контуженные, демобилизованные по состоянию здоровья и в основном женатые, достаточно сформировавшиеся. Мне они казались слишком взрослыми.

На первом курсе я сблизился с Аскером, привлекательным на вид бакинцем. Его отец работал первым секретарем райкома партии. Молодые люди тянутся друг к другу, мы

были одногодками, но наши взгляды на жизнь и потребности оказались совершенно разными. Когда я впервые попал к ним в дом на ноябрьские праздники, меня ошеломили роскошь и богатство. На столе чего только не было – баранина вареная и жареная, копченая рыба и паюсная икра, белый пышный чурек, несомненно испеченный в домашней печи. А фруктов сколько! Сколько орехов, конфет, о которых я и представления не имел! Это было похоже на сказочное пиршество. Я даже ущипнул себя: не во сне ли, не за *да-старханом* ли какого-нибудь падишаха я все это вижу. Я вовсе не завидовал, нет, зависть – черта плохая. Было одно изумление, ведь шла война, все вокруг жили крайне бедно...

Я чувствовал себя очень стесненно, во время трапезы сдерживал себя, чтобы не подумали обо мне чего дурного: мол, на даровщинку спешу набить брюхо. Но мать Аскера, тетя Севиль, так радушно потчевала меня, что неудобно было отказываться ни от чего. У них я впервые попробовал коньяк. За праздничным столом сидела вся семья во главе с хозяином. Здесь же находилась семья старшей сестры Аскера. После выпитого я до того расчувствовался, что стал с излишним жаром хвалить товарища. Его отец и мать просили меня, чтобы я дружил с их сыном и следил за ним, будто мы не были ровесниками. Он был, конечно, избалован, и не только роскошью, вседоступностью, но и воспитанием. Старшая сестра часто по-азербайджански делала брату резкие замечания.

Накануне майских праздников (тогда о Дне Победы еще не думали), как-то в субботу на занятиях Аскер предупредил меня, чтобы в воскресенье я плотно не наедался, что он будет ждать меня дома. Я согласился. Не успел войти во двор (у них был собственный дом), как он с укором спросил: “Что же ты, разве можно так опаздывать?” Потянул меня в комнаты, сказал: “Давай быстренько поедим и поедем в одно место”. Вел он себя как-то беспокойно, нервно, весь дро-

жал. Я наскоро перекусил, и мы вышли на улицу. Он так спешил и волновался, что подхватил меня под руку и потащил за собой. Все время что-то говорил и говорил. Признаться, я не столько слушал его, сколько размышлял, куда же это мы так торопимся. Зародилась даже грешная мысль: не в “веселый” ли дом он меня ведет?

Подошли к бакинской крепости (старый город). Забор был невысокий. Он говорит: “Я сейчас перепрыгну и оттуда кое-что тебе подам”. Не подозревая ничего дурного, я кивнул... Через некоторое время послышался его голос: “Лови!” Ко мне перелетели скомканные сырые простыни, наволочки. Мне стало неприятно, но все же переброшенное я поймал и стал ждать его. А он все подбрасывал и подбрасывал. Я начал вслух возмущаться. Лицо мое горело, я догадался, что белье чужое, к тому же снято с веревки, на которой оно сушилось. Дождался Аскера. За пазухой у него оттопыривалось еще что-то. Все, что у меня было, я сунул ему в руки и, ничего не говоря, торопливо ушел...

В понедельник мы встретились в студенческой столовой во время большого перерыва. У нас состоялся очень серьезный разговор. Я стал стыдить его, убеждать, доказывать: можно ли красть, тем более когда идет война и люди так плохо живут, — это бесчеловечно, это грабеж, мародерство. Спрашивал, чего ему не хватает, ведь его дом ломится от неслыханной роскоши... Он соглашался, часто и мерно кивая головой, но тут же твердил, что ему нужны деньги. Для чего? То ли играл он в какие-то азартные игры, то ли еще что. Он не отвечал, а потом неприлично обозвал меня, и мы расстались. На занятия он ходить перестал. На лекциях я не слушал преподавателей, все думал о случившемся, вспоминал просьбы его родителей, чтобы дружил с Аскером, следил за ним. Все дни нашей полугодовой дружбы вспоминал, перебирая в памяти. Отчего-то было неловко, вроде я в чем-то виноват. На третий день я не выдержал и пошел к ним. В душе теплилась надежда: может, не все кон-

чено, — а вдруг он заболел от переживаний. На стук к калитке вышла тетя Севиль. Аскера дома не было. Я спросил, не случилось ли что с ним. В ответ тетя Севиль заявила, что мне должно быть о нем известно больше, чем ей: ведь мы учимся вместе. По простоте душевной я возьми да и скажи, что, мол, его три дня нет на занятиях. Что тут было! Она так вскинулась, словно я наступил ей на больную мозоль. Зло взглянув на меня, стала укорять. Я же молчал, не зная, что сказать, как себя вести, куда деваться. Она успокоилась лишь после того, как высказала все, что могла. Затем, вся опустошенная и обессиленная, пригласила меня в дом. Стала накрывать на стол, но я от еды отказался, сказав, что только что из столовой. Через некоторое время стал прощаться. Ушел озабоченный: как спасти Аскера? С кем он водится? Отец в районе, там у него и квартира, а в Баку приезжает лишь по праздникам да на партийные мероприятия. Тем более май месяц — самый разгар сельскохозяйственных работ. А мать, скорее всего, на сына влияния не имела.

В пятницу тетя Севиль сама пришла в деканат. Нашла меня. Говорила со мной спокойно, как с близким человеком, просила, чтобы Аскера я не оставлял, приходил к ним. Я пообещал зайти вечером. Пришел, когда уже стемнело, надеялся, что застану друга. Он был дома. Изменился очень, казался каким-то другим. Вначале я подумал, что он ко мне не охладел, но вскоре почувствовал: вроде я ему и товарищ, но...

Мой первый бакинский друг учебу все же бросил. Отцу Аскера стало известно о случившемся после весенней сессии. В октябре сорок пятого он добился, чтобы сына призвали в армию. Я все же иногда ходил справляться о нем, считая это своим долгом, тем более, что не день и не два ел у них хлеб-соль. Может, и виноват я, что не смог как следует повлиять на своего первого студенческого друга? Со временем стал замечать холодок со стороны его родителей.

Думаю, причиной мог послужить мой необдуманый ответ на вопрос отца Аскера: “Как жизнь?” Возможно, своим ответом, что, мол, все хорошо, получаю повышенную стипендию, я расстроил его. Это было заметно по его лицу, вмиг похолодевшему, посеревшему. С тех пор я больше у них не бывал, не хотелось казаться навязчивым.

Пожалуй, этот случай и послужил причиной того, что ни с кем из юношей-сверстников я больше не стал заводить дружбу... К тому же в этот период моей бакинской жизни появились новые неожиданности, новые испытания.

Первого января пошел поздравить тетю Наоми с Новым годом. Оказалось, что за день до этого она вышла замуж, ее муж работал в органах госбезопасности. Туда он попал семнадцатилетним парнишкой как сын потомственного рабочего. Когда он женился, уже считался важным должностным лицом. Это свое лицо он с достоинством сохранял даже в семье. Моя тетя боготворила своего ненаглядного Колечку как нечто дарованное свыше. Не могла надышаться им. А он, хотя и был русским, советским человеком, вел себя, прямо сказать, по-барски, а точнее, по-хански. Имел повадки восточного деспота. Но тете все это, должно быть, нравилось.

В один из майских дней мы втроем пошли на “толкучку”, чтобы купить вещи для их будущего ребенка. Купили детское постельное белье, распашоночки самодельного производства. (Тогда мы и не предполагали, что где-то в мире могут быть детские комплекты.) Когда тетя Наоми родила сына, в первые дни она даже не знала, как держать ребенка, как кормить его грудью. Широко раскрыв от ужаса глаза, она кричала, страхась, что задушит Женечку, задавит. Когда начинала пеленать – тоже сплошная нервотрепка: боялась, что оторвет ребенку головку, ручку или ножку. Здесь уж главной нянькой стал я, как будто всю жизнь занимался этим искусством. Смело показывал тете, как держать

младенца, когда кормят, как пеленать, менять пеленки, как купать в ванночке, как делать зарядку для ручек и ножек малыша... Однажды, увидев мою сноровку и решительность, дядя Коля попросил, чтобы я почаще приходил к ним и давал уроки материнства его жене. Сейчас я бы такую смелость не рискнул проявить, а тогда была самоуверенность безоглядная.

Вторым событием из этой же серии неожиданностей явилось мое вступление в члены ВЛКСМ. Накануне ноябрьских торжеств нас, студентов-первокурсников, предупредили, что к концу занятий придет секретарь ЦК комсомола Азербайджана и будет организован прием всех молодых в Союз молодежи. В нашу аудиторию вместе с женщиной – секретарем ЦК вошли заместитель декана (он являлся секретарем партийной организации факультета) и секретарь комитета комсомола. Прямо здесь всех нас, молодых, беспартийных, приняли в комсомол. Велели на следующий день принести маленькие фотографии, а еще через день, 5 ноября, нам вручили комсомольские билеты. Не думал, когда получал билет, что такой молниеносный прием в комсомол в те суровые годы поможет открыть мне дорогу, позволит войти в число вожakov молодежного движения в двух республиках... На одном из комсомольских собраний меня утвердили редактором факультетской стенной газеты. Формально она числилась органом партийной, комсомольской и профсоюзной организаций.

Баку тех лет мог научить человека всему – добрым делам или злодейству, человек мог стать ученым или дельцом. Я был свидетелем не только приятных событий, но и самых диких, самых жестоких. Вот вроде бы частное происшествие из того времени. Шла премьера всемирно известного кинофильма “Аршин мал алан”, в котором в главной роли снялся великолепный Рашид Бейбутов. Желающих посмотреть фильм было много. В один из весенних дней я тоже решил пойти со своей девушкой. В кассе кинотеатра в самом цен-

тре города – толпа народу, в основном молодежь. Один из стоявших в очереди как бы между прочим заметил, что около кассы на полу лежит человек. Услышав это, я решил с помощью стоявших на улице милиционеров выяснить, в чем дело. Действительно, у кассы в луже крови на цементном полу лежал красивый парень в костюме и ярком галстуке. Охотников поднять его не находилось. Я взялся помочь первым. Парень уже не дышал. Расстегнули пиджак – белая рубашка с левой стороны вся была пропитана кровью. Расстегнули и рубашку: там, где сердце, – маленькая ранка. Убийство с целью ограбления! Орудие убийства – тонкое острое шило!..

Может, это юное сердце мечтало совершить такой же путь влюбленного, что и герой фильма... Кассу закрыли, вызвали “скорую”, прибыл милиционер с собакой. Но меня удивило общее равнодушие: было видно, что ничье сердце не обливается кровью от происшедшего, и самое страшное – все делалось спокойно: возможно, считали убийство рядовым случаем, обыденным делом – надо запротоколировать лишь факт. Кто он, убитый, где его спутница, да и была ли она? Кто его родители?..

Гуляя с девушкой по городу, я то и дело мысленно возвращался к трагедии в кинотеатре... Что такое человеческая жизнь и смерть, рассуждали мы. Неужели между этими двумя величинами нет промежутка? Неужели тот, кто задумал пойти на убийство, не вспомнил свою мать, свое детство, свою первую любовь! Самое мерзкое, что может быть в человеке, – потеря человеческого облика...

В последнюю неделю декабря сорок шестого года из уст в уста передавалась сенсация о небывалом ночном грабеже, совершенном с помощью молодой красивой женщины... Женщина эта, в одной рубашке и туфельках, остановившись у парадного подъезда дома знаменитого на всю республику профессора В., в час ночи звонит. Дверь открыла прислуга: стоит почти голая дама, дрожащая от холода. Говорит, что

на нее напали грабители и всю одежду, золотые вещи, даже сумочку с биноклем забрали. Попросила позволить ей посидеть хотя бы в коридоре до рассвета. Впустив очоленевшую девицу, прислуга пошла доложить хозяевам. Сердобольный врач велел немедленно принести шубу жены, растереть пострадавшей ноги спиртом, сварить для нее кофе. Ей даже посоветовали позвонить в милицию, а если есть возможность – и родителям. Пришедшая с благодарностью приняла предложение. Согревшись, стала звонить родственникам, рассказала им, что случилось: при возвращении из театра на нее напали грабители. Рассказала и о том, как любезно помогла ей семья профессора. С другого конца провода обеспокоенные родные сообщили, что немедленно выезжают. Через некоторое время в квартиру вошли трое верзил в масках, вооруженные ножами. Девица, оборотень в женском образе, вместе с грабителями стала угрожать своим благодетелям. Хозяев заперли в ванной, выдернули телефонный шнур и со знанием дела приступили к очистке квартиры. Забрали все, кроме мебели. Не прошло и недели, как весь город хоронил благородного профессора и его супругу – знаменитого детского врача...

Открытому грабежу подвергся и я, причем в самый полдень, да еще в трамвае. Приближалось время летних каникул, я получил стипендию за все лето, почти пятьсот рублей – огромная сумма. Поехал на вокзал, хотел купить билет до Дербента. В трамвае я обычно стоял, держась за поручни сидения. Вот и в этот раз – стою и мечтаю о предстоящей встрече с родными. Вдруг прямо перед носом мелькнул огонек папиросы. Через мгновение огонек пропал. Машинально я взглянул на карман рубашки, где обычно лежали деньги. Карман оказался раскрытым, а деньги исчезли. Сразу мелькнула мысль: взял тот, кто назойливо дымил мне прямо в лицо. Это был здоровенный поджарый мужик с папиросой во рту. Я рванул к нему, схватил его за заметно выступавший вперед карман. От неожиданности тот сдрейфил и

вытащил из кармана пачку десятирублевых. “Это мои десятки!” – гневно бросил я сидевшим в вагоне. “Как это твои? Сколько твоих было?” – напирал он на меня. В пачке почему-то не оказалось еще пятирублевых и трехрублевых купюр. Я стал требовать показать все карманы. Обращаясь к вагоновожатому, просил остановить трамвай и вмешаться. Грабитель, вырываясь от меня, пятился назад, к выходу. Я – за ним. В этот момент двери вагона внезапно открылись, и похититель спрыгнул. Я было хотел последовать за ним, но двери уже захлопнулись.

Разгневанный от бессилия предпринять что-либо, я на первой же остановке вышел, удрученный, раздосадованный, упрекая себя за невнимательность. Но, возвращаясь домой, стал рассуждать: почему же вагоновожатый на ходу открыл двери грабителю, а передо мной закрыл, – и понял, что и вор, и водитель трамвая “работали” вместе!

На втором курсе нас, студентов, потрясли разговоры о предстоящем суде над нашим самым любимым и эрудированным преподавателем, обвиняемым в сожительство... со своей дочерью! На судебное заседание приглашенные отбирались, в числе отобранных оказался и я. Зная доцента, его энциклопедические познания в области литературы и искусства, его интеллект, я и близко не допускал мысли о том, в чем его обвиняли. Считал это кознями, неумеренной ревностью безумно любящей жены. Но когда шел суд (он продолжался целых два дня), я был ошеломлен признаниями на суде не только уже беременной дочери, стройной девушки необыкновенной красоты, но и красавца-отца. Он доказывал суду, что жить без нее не сумеет и не хочет, чтобы она принадлежала другому...

О подобных случаях я знал из книг, иногда рассказывали анекдоты. Но быть самому свидетелем высшей безнравственности!.. Боже мой! И сегодня не могу уяснить, не в состоянии понять, найти оправдание отцу-извергу – сыну моего больного века. Думая о случившемся, живо представляю

невинное личико шестнадцатилетней жертвы, и вновь передо мной вырисовывается до ужаса красивое лицо реликта-отца...

Что это за существо такое – человек? Что он из себя представляет? Чем наделил его Бог, а чего недодал?

И человек, и общество – будто живой организм. Объединение людей и его органы структурно создавались самим же человеком в течение многих и многих веков и, вполне очевидно, по его образу и подобию. У общества, как и у человека, несомненно, имеются своего рода голова и сердце, нервная и кровеносная системы, глаза и уши, потребности и желания. У того и другого помыслы и дела могут быть добрыми или агрессивными, состояние – здоровым или больным. Получается, что есть все, чтобы без бреда, без бесчестия творить и здравствовать обоим в одинаковой степени. Но почему же появляются общества и люди противоестественные: больше способные на зло, на горе, чем на добро, на радость? Почему появляются такие люди, как та грабительница в обличье красавицы- “жертвы”, или не побоявшийся кары убийца, вонзивший в юное сердце шило, или вор, обокравший студента, или отец, обесчестивший собственную дочь... Боже мой, сколько раз за свое существование человечество ставило подобные вопросы, не объяснимые с точки зрения здравого смысла!

Убежден: человек, когда создавал общество, да и семью, в своем усердии не был до конца искренним. Ловчил...

А может, Творец все же недодал человеку разума, считая, что поумнеть должен он сам?..

Именно в Баку, став свидетелем и добра, и зла, я понял, что надо делать все, чтобы сохранить себя прежде всего нравственно, жить не по лжи, быть полезным. Старался впитывать неоформившимся еще мозгом, незатвердевшей своей душой все увиденное, услышанное, все известное и трансформировать в людское благо. Бакинские годы жизни я воспринимал как пробу своих сил и возможностей. Стремился быть самим собой.

А еще Баку научил меня носить усы, ходить в галстук, привил любовь к цветам, к прелестному созданию природы — женщине...

Но все же самой интересной и захватывающей была моя студенческая жизнь, особенно учеба. Вернусь к своему первому высшему учебному заведению, которому обязан многим. Я был горд тем, что учился в одном из лучших высших учебных заведений страны. Чувствовал, как закаляюсь в горниле жизни многоукладного евроазиатского города. Считал, что должен оправдать надежды и моих родителей. Учили нас люди, действительно преданные науке. Немало преподавателей, ученых приехали в Баку в годы войны из Киева, Ленинграда, Москвы. Преподавали великолепно, увлеченно, а главное — с большой любовью к аудитории. Большинство из них несли в себе огромный заряд человечности, интеллигентности. Мы, студенты, занимались так, чтобы оправдать их ожидания. Старались хоть в чем-то быть похожими на них. По молодости лет дело доходило и до смешного. По сей день не могу забыть, как во время перерыва между лекциями (они шли по два часа), я примерял на свою маленькую голову фуражку огромного размера, оставленную академиком Маковельским на кафедре. С глубокой признательностью вспоминаю этого крупного философа с мировым именем, профессоров древней истории Зуева, Судака, доцентов Амирова, Кочарли, Бертельса, Мадатова, Шыхли, Ямпольского и других замечательных проповедников знаний. Безгранично любил я не только историю, но и психологию, этнографию, логику. Суждено было полюбить мне не только латинский язык, но и его преподавательницу. Мои зачеты и экзамены она принимала у себя дома...

В стенах университета я стал усиленно изучать психологию. Чем больше вникал, углублялся, тем интереснее было изучать эту науку. Я увлекался ею с какой-то одержимостью. Книги по психологии, психоанализу были со мной на лекциях и собраниях, в электричках и трамваях. Плодотвор-

но повлияли на меня произведения знаменитых немецких врачей-психологов, философов XIX – первой половины XX веков. Моим кумиром был знаменитый психолог Зигмунд Фрейд. От корки до корки я изучал его произведения “Страх”, “Очерки по теории сексуальности”, “Толкование сновидений”. Прочитал ряд книг по этике, логике и психологии Вильгельма Вундта, Харальда Геффринга, Отто Вейнингера и других в русском переводе.

На мир и людей я смотрел сквозь призму взглядов этих истинных глашатаев этики, нравственности. В те годы я увлекался гипнозом. Небезуспешно проводил эксперименты по внушению. Я чувствовал, как эти знания делали меня чище, добрее, приобщали к культуре.

В те же годы я начал заниматься литературным поиском, делал наброски, записывал свои мысли, выводы. Учился творить свой мир, вырабатывать свой взгляд на жизнь. Будоражил свою мысль, повседневно задумывался, анализировал, что происходит вокруг меня, сомневался, искал дорогу к себе, свое место в жизни. Понял, что главное в жизни – знания, а не удача, честность, а не хитрость, доброта, человечность. То, что происходило вокруг меня, учило иметь свое достоинство, свой характер. Я хотел стать профессионалом-психологом. Но, видимо, судьбе не было угодно, чтобы я им стал...

Каждую встречу с людьми, каждый прожитый день, уроки жизни воспринимал и как знамение судьбы...

Приближалась летняя экзаменационная сессия. Страна широко отмечала майские праздники. Я решил по-своему отметить их – досрочно сдать экзамены и раньше обычного уехать домой. Отцу приходилось нелегко, да еще надо было помочь ему с оформлением пенсии. Дореволюционную трудовую деятельность отца, связанную со службой в синагоге, власти не хотели принимать во внимание. Дело дошло до того, что этот вопрос рассматривался в высших эшелонах власти Дагестана. В положительном решении пенсионного дела отца особо велика заслуга легендарного героя

гражданской войны в Дагестане Тахтарова, занимавшего тогда пост председателя Президиума Верховного Совета республики. Просветительскую работу отца он сравнивал со своей миссией по освобождению народов страны гор от нищеты и рабства. Наконец отцу установили пенсию в размере 920 рублей...

И вот в один из майских дней я задумал просить декана разрешить мне досрочно сдать экзамены за шестой семестр. Пришел в приемную, только собрался постучать в дверь, чтобы войти, – слышу, как кто-то произносит мою фамилию. Меня это заинтересовало. Я остановился. Пораженный услышанным, опустился на диван, который стоял напротив двери кабинета декана. Шел подстрекательский разговор обо мне. Чей-то голос убеждал слушателей, что я чистейшей воды еврей. Заместитель декана дотошно выяснял детали. А женский голос не то удивленно, не то убеждающе вопрошал:

– Ну и что из этого?

Этот анонимно-интимный закулисный спектакль меня сильно насторожил. Я напряг слух. Теперь отчетливее стал слышать и разбирать слова говорящих. “В чем дело? – спрашивал я себя. – Почему при закрытых дверях без тебя перемывают твои кости? И при чем тут происхождение – кроме меня, здесь учатся студенты более десяти национальностей!”

– Получается, подавая заявление в университет, он скрыл свою национальность! – раздался низкий, с сильным акцентом голос декана. Его голос я мог бы отличить за кулисами любого театра, даже на многоголосом колхозном рынке.

У меня не было сомнений: подобное не могло произойти ни под крышей мечети, ни под куполом церкви, ни в стенах синагоги. Почему же здесь, в храме образования, воспитания?... – рассуждал я.

– Получается, что так, – прозвучал незнакомый бас.

Я услышал шаги. Дверь кабинета открылась. В проеме показалась фигура заместителя декана – преподавателя физ-

культуры. Я поднял голову... Увидев меня, сидящего на диване, он спешно повернул назад, плотно закрыл за собой дверь и истошно прокричал:

– Он сам здесь!

Я не выдержал, резко привстал, постоял у двери кабинета. Вся моя душа хлопотала. Хотелось войти, бросив вызов, задать вопрос: “Что за фашистское сборище?!” Плунуть и выйти. Я ненавидяще глянул на табличку, на которой черной тушью были аккуратно выведены фамилия и инициалы моего глубокоуважаемого декана. Выругавшись, махнул рукой и резкими шагами пошел к выходу. Не заметил, как очутился на улице. Стоял и никак не мог отдышаться, нервы были напряжены до предела. Не замечая никого вокруг, по Коммунистической улице спустился вниз, к набережной, пройдя мимо здания Бакинского Совета и здания ЦК большевистской партии... Здесь было свежо, морской воздух облегчал голову. По набережной гуляли какие-то люди, мамы с детишками. Не хотелось ни о чем думать. Я стоял на берегу моего родного Каспия. Ослабленные его волны устало и тихо ударялись о твердые, похожие на береговые дамбы, каменные стены... Под мерный шум прибоя я долго стоял, смотрел на безбрежное море, но не мог сосредоточиться ни на одной мысли. И так – до позднего вечера. Кругом уже не было ни живой души. Пошел домой. Ни есть, ни читать не хотелось. Не раздеваясь, кинулся на кровать и до рассвета не сомкнул глаз...

Решил пойти к заместителю декана. Он был к тому же еще и секретарем парторганизации факультета. С ним мы часто общались, ибо он входил в редколлегию стенгазеты, которую я редактировал.

В университет я пришел необычно рано. Встретил его на улице, подходя к зданию. Увидев меня, он заметно сконфузился, покраснел, стал как-то семенить, даже шаркать ногами. Поспешил протянуть руку. Я с ходу заявил, что хочу поговорить. Он промолчал. Поднялись на второй

этаж, вошли в кабинет. Я намеренно закрыл плотно за собой дверь. Вот наш получасовой диалог, который запомнился мне на всю жизнь, запомнился накрепко потому, что я часто его повторял, чтобы не забывать, кто я такой в моем государстве, в системе, лишенной какой бы то ни было логики...

– Садись. Слушаю тебя, – сказал он. Но сам не присел. Лишь что-то достал из книжного шкафа.

– Что за разговор был вчера у декана вокруг моей фамилии? – спросил я.

– А ты что, слышал?

– Да, слышал! – вызывающе вырвалось у меня.

– И что же дальше?

– Что, что! Вот вы и скажите мне, что!.. Почему так националистически, а точнее, шовинистически, стоял у вас вопрос? Только ли обо мне шел разговор в таком духе?

– Разговор был не столько о тебе, сколько о твоей национальности. В документах ты не пишешь, что еврей. А фамилия-то твоя еврейская, – добавил он.

– Ну и что из этого? – спросил я, глядя в упор ему в глаза.

– Как что? Скрываешь свое происхождение!

– А что это значит?

– Что значит? А то и значит, что ты умышленно скрыл свою настоящую национальность. Вот что значит, – надменно и назидательно произнес он.

– Это что, официальный, серьезный разговор или товарищеская беседа? – спросил я с издевкой.

– Считаю, как хочешь, мы же не за чашкой чая сидим и толкуем.

– Как все же это понять? В стенах высшего учебного заведения, где преподают основы марксизма-ленинизма, на каждом шагу говорят и пишут о сближении наций, о дружбе народов, о том, что у нас нет национальной проблемы, – и вдруг вот такая ерунда. Какая разница, – продолжал я, –

кто к какой национальности принадлежит? Никто сам себе национальность не выбирал, в кости не выигрывал... Если не ошибаюсь, сам Маркс был еврей. В таком случае пойду в ЦК комсомола, дойду до ЦК партии, буду объясняться там... Кем мать меня родила, тот я и есть, – повысив голос, гордо заключил я.

В те годы я был уверен в себе, считал, что способен на все, смогу добиться всего.

– Ты какой-то ненормальный. Нормальные люди... студенты так не рассуждают.

– Что же, по-вашему, все ненормальные – евреи?

– Быть может, и так... А рассуждаешь ты опасно.

– Вот это здорово! Учиться хорошо, отвечать так, как учат, – это опасно?

Он промолчал, не найдя, что сказать.

– Но все-таки скажи, ты ведь еврей?

– Допустим. Если даже это так, что дальше?

– А вот то...

– Что – то?

– Нельзя скрывать от общественности, кто ты есть. Да еще и в комсомол вступил. Ведь скоро распределение выпускников. В Госплан надо будет направлять сведения. Вообще подумай, легко не будет...

– Почему? – вырвалось у меня. – В республике все говорят, что жена Багирова – еврейка. А может сам Сталин – Иосиф Джугашвили – еврей? Да и про Берию всякое говорят, – выпалил я.

– Во-первых, глупостей не болтай. А во-вторых, насчет тебя другого сказать не могу.

– Почему, почему же?

– Не знаю, не знаю, – сухо сказал он и добавил: – Как бы не пришлось тебе осенью по этому вопросу объясняться.

Со мной творилось что-то ужасное. Я места себе не находил. До предела был взвинчен, возмущен. Чувствовал, что оказался в узком и зловонном тупике. Выйти бы из дурного

состояния и свободно подышать... Измученный, встал со стула и тихо заявил: “После сессии уйду от вас”, – и вышел из кабинета.

Сижу на лекции – перед глазами сплошной туман, из головы не выходит ни тайная вечеря в деканате, ни разговор открытым текстом у секретаря парторганизации. Вспомнил, как мы, третьекурсники, писали реферат на тему: “Ленинская национальная политика в развитии и действии”. По этой теме многие из нас получили пятерки. Какое кощунство! Решил: как только сдам экзамены, перееду в другой город. Впереди целых два месяца летних каникул. “Поеду учиться в Москву, – подумал я. – Москва – столица всей страны, всех народов, многонациональный город... Переведусь в МГУ”.

Не дожидаясь завершения сессии, отправил письмо в Московский университет имени Ломоносова. Вскоре пришел ответ, если не ошибаюсь, за подписью академика Несмеянова, что меня могут зачислить на исторический факультет, но – на курс ниже. Еще чего не хватало!

Много хорошего слышал я о Среднеазиатском государственном университете. Обратился туда. Ответ пришел положительный. С письмом в руках я зашел к своему декану. Тот прочитал и ответ, и мое заявление о переводе. Потом поднял голову, посмотрел на меня сквозь очки в позолоченной оправе...

Чутье меня не подвело: о моем разговоре с его заместителем он знал. Говорить я не захотел. У него мое ясное, короткое заявление, довольно любезный ответ братского университета – пусть решает. Да и говорить я не мог, все свежо... Хотя на лице у меня была самодовольная улыбка, внутри назревал гнев. Почувствовав это, декан произнес:

– Если хотите, задерживать не будем. – Нажав на кнопку звонка, пригласил секретаря приемной и сказал: – Зарегистрируйте эти бумаги и готовьте документы для перевода в Ташкент.

– Чтобы не тянуть дело, неплохо будет, если документы я получу на руки сам, – спокойно сказал я.

– Хорошо, так даже лучше, – резко кивнул он головой.

Вот так произошло мое первое столкновение на ниве просвещения, оставившее глубокий след в моей душе. Тогда по молодости лет и чистоте взглядов я не мог догадаться об истинной причине разговора, который вели новоявленные кастраторы советского государственного университета. Впрочем, интуитивно я чувствовал двойственность их речей, видел маски на лицах сановных чинов, которым была доверена подготовка кадров для системы власти. Не было ли это прелюдией к чистке кадров, чтобы впоследствии стерилизовать общество после победоносной войны”?..

И вот в дни наступивших летних каникул я стал вольной птицей, готовой к новому полету в незнакомую преисподнюю системы. А по документам – в знакомую лишь по учебникам древнюю и советскую Среднюю Азию...

Я не имел права обижаться на Баку. Не видел никакой его вины в том, что в майский день в кабинете декана некоторые чины склоняли мою фамилию и ее принадлежность к маленькому древнему народу. Своей пылкой, искренней юношеской душой я очень болезненно и близко к сердцу принял тот разговор весной сорок седьмого года. Я считал тогда, что все мы одинаково равны перед наукой, перед миром, перед совестью. Ибо прежде всего мы люди, рожденные волей Всевышнего. Таково было веление самой Судьбы. По всей вероятности, когда я родился, моя звезда улыбалась чуть иронично, как Джоконда Леонардо да Винчи. Кажется, судьбе угодно было, чтобы Баку, сколько мог, растил семнадцатилетнего школьника из провинции, а затем, как по эстафете, передал его столице другой республики для проверки, на что способен его питомец.

Честное слово, это судьба. Судьба есть у всех. Нет человека без судьбы! Будь он царь или пастух. История челове-

чества подтверждает это. Ох, как много было гонимых по воле судьбы... И разве одной лишь судьбы?..

Только у Бога нет судьбы. Он сам судьба, Он же судья...

Мне Баку помог не потерять слишком много времени на восприятие сущности бытия, на процесс познания, помог быстрее осознать жизнь – полней окунуться в гущу разных событий. А это очень дорого, если не самое главное.

Столицу Азербайджана я вспоминаю с огромной благодарностью. Мое пребывание там связано с самыми интересными годами. Это годы учебы, становления, оформления характера, воли, качеств, которые понадобились мне на многие годы...

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

В стенах Среднеазиатского государственного университета я встретил теплый, доброжелательный прием. В первый же день меня принял проректор по учебной работе – довольно приветливый, с пронизательными умными глазами, сидевший за огромным письменным столом. Был он в небольшой бархатной узорчатой тюбетейке, венчавшей его красивой формы голову. После короткого знакомства он пригласил к себе начальника административно-хозяйственного отдела и председателя студенческого профсоюзного комитета университета. Любезно представил им меня. Повременив, уважительным тоном велел им помочь мне в получении хлебной и продовольственной карточек, стипендии за еще не наступивший октябрь и в устройстве в общежитии.

До начала занятий оставалось еще несколько дней. В двухместной комнате добротного для тех времен общежития я оказался один. Буквально за день до начала занятий приехал старожил комнаты, тоже студент четвертого курса, но не “историк”, как я, а “филолог”, Расулов Сабир, среднего роста, коренастый, житель горного кишлака. Своей почти девичьей скромностью он покориł меня с первого взгляда, я сразу обратил внимание на его черные как уголь, искристые глаза. Кожа лица на удивление светлая, щеки румяные, губы с матово-красным отливом. Хотя в общежитии

прожил я недолго, с Сабиром у меня сложились самые добрые, приятельские отношения.

Первого октября, в первый же день учебы, как говорится, без меня меня женили. На занятиях, во время перерыва между лекциями, ко мне подошла девушка невысокого роста, смуглая, с толстой, черной, блестящей как смола, косой. Обнажив белые как фарфор зубки, с привлекательной улыбкой представилась: “Зохра”. Тут же взяла меня за руку, как давнего знакомого, мило и кокетливо прищулив и без того небольшие раскосые глазенки, чуть понизив голос, певуче и мягко спросила: “Как тебя зовут?” Я до того был обезоружен происшедшим, что в ту же минуту рассказал о себе все, что мог. Она предложила сесть с ней рядом за одной партой... Так в стенах второго высшего учебного заведения, где мне довелось учиться, встретилась на моем пути лучшая студентка исторического факультета, сталинская стипендиатка Узбекикова Зохра. После занятий я предложил ей вместе пойти пообедать в университетскую столовую. Она согласилась сразу, как будто ждала этого. Сама и повела меня туда. Впрочем, мы не столько ели, сколько изучали друг друга. После обеда ей захотелось посмотреть мою комнату в общежитии. А потом я ее попросил показать мне город.

Почти до темноты, как настоящий гид, довольная Зохра показывала мне свою родную столицу. В те времена Ташкент больше походил на древний азиатский город: бросалось в глаза обилие одноэтажных глинобитных домов с конусообразными высокими дувалами-заборами, множество узеньких, кривых улиц, всяких проулочков, порой ведущих, казалось, в никуда. Женщины в основном были одеты по-азиатски. Узбечки, таджички прикрывали свое лицо паранджой, вовсе не похожей на чадру кавказских мусульманок.

Через весь Ташкент протекала удивительная речушка Анхор, казавшаяся прорытой в глубоком ущелье. К вечеру жи-

тели домов, весело переговариваясь между собой, из небольших ведерок поливали деревья, обильно плескали на выложенные квадратными кирпичами дворы, прилегавшие к постройкам улицы и улочки, в надежде избавиться от пыли, поднявшейся за день с земли, и в предвкушении прохладной ночи...

На одной из улиц в центре города Зохра заявила, что мы стоим около ее дома. Своей маленькой ручкой с короткими, как у ребенка, пальчиками она показала на огромный дом, сложенный из камня, с высокими металлическими воротами в замысловатых восточных узорах. Тут же заявила, что ее родители ждут и меня. Я был ошеломлен: как это вдруг? Она сказала, что еще днем предупредила их, что придет ее однокурсник, над которым, по решению комсомольского бюро факультета, она взяла шефство.

Как только мы очутились у порога дома, со словами "*Келин, келин, хош келибсиз!*" ("Заходите, заходите, добро пожаловать!") нас встретила принаряженная, моложавая мать Зохры. На веранду, окружавшую весь дом, вышел смуглый мальчонка лет четырех. Из другой комнаты показался высокий, скуластый, похожий на монгола мужчина, как я понял, глава семьи. Лицом Зохра была копией отца. Чуть ли не хором пригласили меня в столовую. Обставлена она была с большим вкусом, кругом пестрели ковры, в основном китайские. Хотя в комнате стоял большой круглый стол, скатерть расстелили на полу, а вокруг нее – аккуратные узкие стеганные матрасы, обтянутые шелком в полоску.

Отец Зохры, указывая рукой в сторону кожаного дивана, рядом с которым только что расстелили скатерть с матрасами, пригласил сесть. Я догадался и сам, но замешкался – есть на полу не приходилось. Долго мялся, но потом вспомнил: в годы моего детства семья наша тоже ела на полу... Отказываться было неудобно. Не совсем удачно, но как-то все же сел, стараясь расположиться поудобнее. Зохра, одетая уже по-домашнему, принесла медный кувшинчик, тазик

и полотенце, перекинутое через плечо. Приятно улыбаясь, предложила вымыть руки, с чем я справился без особых трудностей. Закончив процедуру омовения, она же принесла несколько небольших румяных лепешек, соль, зелень, в тарелке – мелко нарезанный репчатый лук. И тут же вслед за Зохрой, ну прямо волшебница, фея, появилась хозяйка дома, держа чуть ли не над головой огромное блюдо, наполненное пловом. Все сели.

Отец Зохры смотрел то на меня, то на дочь. Она коротко, в нескольких словах, рассказала, кто я. Скованность рассеялась. Как гостю, первым приступить к трапезе предложили мне. Как и с чего начать, я не ведал, обычаев местных еще не знал, но не растерялся. Взял лепешку, двумя руками разломил на части, затем посолил кусочек и, не глядя ни на кого, стал есть. Хозяева поступили так же. Через некоторое время отец Зохры, протянув руку к блюду, пригласил меня приступить к плову. Как есть его, мне было неизвестно, – вокруг ни ложек, ни вилок. Снова догадалась молодчина Зохра. Подсказала отцу, чтобы начал он и сам показал пример. Так и получилось. Он ел прямо пальцами. Я тоже стал есть плов – только двумя пальцами: большим и указательным. Попадало всего несколько рисинок. Присматриваясь к едокам, попробовал тремя пальцами – в рот стало попадать кое-что. Все, кроме меня, плов брали всей пятерней, делая из него целую пирамиду, управлялись довольно ловко. Я же думал прежде всего о том, как потом быть с жирными пальцами. И от этого чувствовал себя не в своей тарелке. Зохра, сидевшая напротив меня, рядом с матерью, по-видимому, следила за мной. Вдруг до моего слуха дошло беспокойное восклицание. Хозяйка дома, словно девица, вся зардевшись, встала с места... И я замер: ко мне направлялась женщина-картинка, прямо красавица из знаменитых восточных сказок, с тонкими чертами лица, ровными как стрелы бровями, заметно подкрашенными сурьмой, крупными серьга-

ми, продетыми в нежные мочки прелестных ушей. На голове – заплетенные косы, похожие на ожерелье из черного жемчуга. Она шла, вся светясь от улыбки. Я только слышал, как где-то, будто в небесах, раздавался ее голос:

– У меня, хирурга, руки стерильные, сейчас помогу, научу есть плов.

Села рядом. Я молча ждал. Показывая, как надо брать, своими тонкими длинными пальцами ловко подхватила кусок мяса, затем, как бы колдуя, стала под пальцы тщательно собирать рис. Сделав солидную горсть, велела открыть рот. Я, как ребенок, готовый проглотить ложку лекарства, запрокинул голову назад. Она ласково попросила меня наклониться к ее руке – и в одно мгновение плов очутился во рту. Поддерживая ладонью, я долго смаковал ароматное узбекское чудо. Так меня учили есть великолепное кушанье – традиционное блюдо народов Востока... Где бы я ни бывал в дальнейшем – в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, знал: гостеприимные хозяева обязательно подадут вкусный ароматный плов, и с трогательным чувством вспоминал незабываемую встречу у добрых Узбековых. У них же я научился пить превосходный напиток изумрудного цвета – зеленый чай. Поначалу я не ощущал вкуса: после жирного сытного плова просто хотелось пить. Но потом этот чай стал самым любимым моим напитком. Вот уже свыше сорока лет пью его и никак не напьюсь...

Проводить меня вызвался отец Зохраны – Амин Нурматович. По дороге мы разговорились. Я тоже заинтересовался своим провожатым, попросил его рассказать немного о себе. Он оказался словоохотливым. Рассказал, что трудовую деятельность начал с учетчика в колхозе. Потом учился в Институте народов Востока, работал сельским учителем и одновременно боролся с басмачами. Затем – заведующий районным, областным отделами народного образования, ну, а ныне – министр просвещения республики. Недавно избрали

депутатом Верховного Совета. Он снова поинтересовался мной, спросил про родителей. Так и дошли до моего общежития...

Не проучились и месяца, как студентов мобилизовали на сбор хлопка. С нас, членов ВЛКСМ, спрос был особый. Ежедневная норма сбора хлопка-сырца – тридцать килограммов, а позже – курака (нераскрывшаяся коробочка хлопка) – по шестьдесят. Мне, не привыкшему к сельскому труду, было особенно тяжело. Я до крови изранил пальцы, доставая из раскрытых створок коробочки белоснежный комочек весом в пять-шесть граммов. Норму не выполнял, каждый вечер возвращался к месту ночлега уставшим. Страшно болели руки, ныла поясница, ложился спать, не раздевшись и толком не умывшись... Но зато, когда пришло время сбора курака, каждый день собирал по сто и более килограммов.

В начале декабря повалил снег, а перед нами ставилась трудная задача: убрать все до единой коробочки, чтобы поля были чистыми. Но, несмотря на наши старания, на давление и агитацию навещавших нас чинов разного масштаба, ни совхоз, где мы трудились, ни в целом республика план сдачи хлопка-сырца так и не выполнили.

Как-то раз в наш совхоз на легковом автомобиле приехал Амин Нурматович. В обеденный перерыв он встретил меня на полевом стане, стал расспрашивать о моих делах, не нуждаюсь ли в чем, и, тепло распрощавшись, уехал. О причине этого визита Зохра рассказала мне позже (кстати, она сама на сбор хлопка не поехала, тогда я еще не знал причину). Оказывается, Зохра видела меня во сне: я в постели и весь горю. И вот привязалась к отцу, чтобы тот отвез ее проведать меня. Он посчитал неудобным такой ее визит, но дал слово, что выберет время и сам навестит меня обязательно.

Многие ребята на сборе хлопка болели, были простужены, у некоторых обнаружили даже воспаление легких. Но

отозвать нас никто не смел... Наконец через полтора месяца дали команду возвращаться...

Только начались занятия, как по университету пошли разговоры о том, что в стране проводится денежная реформа, отменяются карточки на продовольствие и промышленные товары. На следующий день во всех газетах было опубликовано постановление по этому вопросу, подписанное Сталиным и Ждановым. С 16 декабря в обращение вводились новые деньги образца 1947 года. Прочитав о реформе, я сразу подумал о моих родных, о нелегкой жизни семьи. Почему-то вздохнул с облегчением, хотя и не знал, будет ли от проводимой акции лучше или хуже. Для студентов особой радости не было. Стипендию мы стали получать в десять раз меньшую.

По-настоящему начали заниматься лишь с января. Учиться было нетрудно, чувствовалась небывалая свобода. Преподаватели, доверяя старшекурсникам, строго и не спрашивали. С ними даже складывались чисто товарищеские отношения. Начались и практические занятия. Много для меня значило и шефство Зохры. В университете к ней относились с особым уважением. Она была любимицей студентов.

В общежитии мне было скучно, а к вечеру нападала непонятная тоска. В Баку все годы учебы я жил один, имел свою комнату. Хотелось и здесь жить отдельно, чтобы быть свободным и во времени, и в своих действиях. Стал подыскивать угол. По этому поводу поделился и с Зохрой. Она пообещала помочь. На другой же день обрадовала меня, заявив, что комнатка есть. Правда, сказала она, временного типа – летний флигель во дворе их дома. Пояснила, что он пустует, но на зиму можно будет поставить печь, кроме того, не придется думать о плате. А самое главное, не так далеко от университета, рядом с ней, в любое время можно будет заниматься вместе, да и быстрее научусь у них узбекскому языку. Поначалу я очень обрадовался. Ее предложение вы-

звало во мне бурю эмоций. Но неожиданно закралась мысль, которая здорово напугала меня. “А вдруг, — думал я, — мало ли что может произойти...” И стал отказываться, находя десятки причин, казавшихся мне достаточно вескими. Зохра тут же, парируя, приводила свои доводы, горячо убеждая меня согласиться. Покровительственно взяв меня за талию, продолжала доказывать, что я останусь очень и очень доволен.

Я молчал.

Тут она разом сникла, даже ростом стала как будто меньше и, окончательно обессиленная, какая-то опустошенная, посмотрела снизу вверх на меня, умоляюще, в тревожном ожидании. Стало жалко ее, и я согласился. Она, вся преобразившись от радости, прямо на улице несколько раз покружилась, пританцовывая в своих красивых мягких ботинках. На меня же нашло странное наваждение. В тот миг я почувствовал себя одновременно победителем и побежденным, был счастлив оттого, что могу приносить человеку радость... Наутро опять стал обдумывать, взвешивать, снова и снова отбрасывал возможность переезда. Решил повременить с переселением. А на третий день Зохра прямо с ходу извещает меня, что все прибрано, комната ждет своего хозяина.

— Вся семья приложила силы, чтобы там было чисто и уютно! — щебетала она.

Первого февраля состоялось новоселье. Для холостяка жизнь здесь могла быть вполне удовлетворительной.

Надо было побеспокоиться и насчет дополнительного заработка. Стипендию я получал уже новыми деньгами — тридцать два рубля, на них особо не разгуляешься. Университетская комсомольская организация по моей просьбе вошла с ходатайством в вышестоящий комитет об оказании мне помощи. Первый секретарь райкома отнесся сочувственно, для начала предложил внештатную работу. Я согласился, в надежде, что попозже подвернется что-нибудь более подходя-

щее. Меня утвердили внештатным инструктором Центрального райкома комсомола.

В республике, которую я от души полюбил, повсюду кипела работа. Строилась железная дорога Чарджоу – Кунград, именовавшаяся сталинской магистралью, Фархадская ГЭС, осваивался Ангренский угольный бассейн. Велось строительство Катта-Курганского водохранилища, которое впоследствии открыло дорогу освоению знаменитой Мирзачульской степи, росли новые современные города.

В пятидесятые годы “боевой темп”, “всенародный энтузиазм” восстановления и подъема экономики с поразительным неистовством освещались в прессе. Об этом говорило советское радио, напоминал большевизированный кинематограф, социалистическое искусство. В газетах любого уровня и масштаба ежедневно публиковались письма, рапорты коллективов рабочих и колхозников, представителей областей и республик могущественному сатрапу о достижениях и обязательствах по выполнению народнохозяйственных планов. Как потом стало известно, многие из них были блефом, враньем...

В эти же годы печатались материалы о трудах Сталина, о выдающейся его роли в Октябрьской революции, Отечественной войне, во всех достижениях советских людей. Беззастенчивое рвение в этом проявляло ближайшее сталинское окружение.

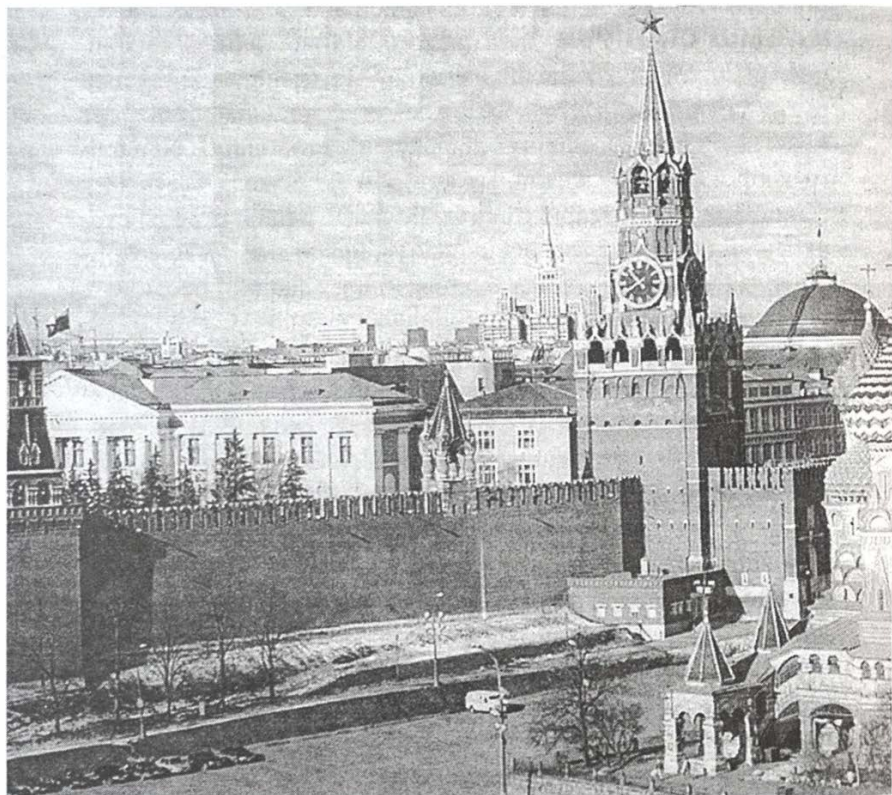
Один из “архитекторов” коммунистического светлого будущего Молотов в докладе о тридцатилетии Октября все заслуги приписал двум крупнейшим революционерам, причем заслуги Сталина отметил семнадцать раз, имя же Ленина упомянул одиннадцать раз. Будущий секретарь большевистской партии и будущий академик Борис Пономарев только в одной статье тех лет, посвященной партии Ленина–Сталина, в каждом абзаце восхвалял “мудрость вождя”, под руководством которого сам работал.

Доходило до курьезов, а нередко и до абсурда. На юбилейных торжествах в связи со стапятидесятилетием со дня рождения А.С.Пушкина произносили здравицы в честь великого русского поэта и... в честь великого Сталина. Не обошли его вниманием и в дни празднования 800-летия Москвы, ставя выше Юрия Долгорукого. На юбилейной сессии, посвященной двухсотдвадцатилетию Академии наук, каждый выступавший старался доказать свои верноподданнические чувства большевистскому монарху. “Нет ни одного большого вопроса нашей жизни, на котором не лежала бы печать гения Иосифа Виссарионовича. Во главе нашей страны стоит гений человечества, великий муж науки Иосиф Виссарионович Сталин”, – сделал заключение тогдашний президент Академии Комаров.

Холуйское усердие проявляли и толстые журналы ЦК ВКП(б), институт Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина, газеты “Правда”, “Известия”, “Московская правда”. В передовой статье “Генералиссимус Советского Союза” газеты “Известия” имя деспота было почти в каждой строке. Я дважды пытался установить автора этого “шедевра”, но безуспешно: редакция строго хранила секрет. А может, стало стыдно за прошлое? Аналогичным примерам и фактам, имевшим место в любом коллективе и далее – от районного вплоть до союзного, нет числа.

Мы, студенты и комсомольские активисты, учились и воспитывались на “сталинском” Кратком курсе истории ВКП(б), на книгах, “научных” трудах и статьях академиков Поспелова, Вышинского, Ильичева, Митина, да всех и не перечислить. Какой бы период истории и жизни государства ни брали, без подчеркивания выдающейся роли “гениального” Сталина не обходилось.

Вот так в те годы кремлевские заправила науки, инженеры человеческих душ вдалбливали в наши головы разные опусы. Так нас дурили трубадуры, а мы в свою очередь обманывали других.



Москва. Кремль.

Я, как и многие из моего поколения, одурманенный опиумом большевизма, верил каждому печатному слову. С усердием школьника корпел над произведениями классиков марксизма-ленинизма, штудировал книги ученых мужей из “большой науки”, многочисленные публикации прессы. Став комсомольским пропагандистом, страстно доводил до молодежи далеко не правдивое слово партии, идеи шама-низма...

Мне и в голову не приходило, что основателя большевистской партии и социалистического государства Ленина – “кристально чистого и безупречного вождя простых людей” – мы изучали в усеченном виде, с купюрами; что где-то специально скрывались от нас тысячи и тысячи его секретных указаний – приказов о насилии, применении жестоких мер, публичных казнях (для “массового устрашения”), высылке всех тех, кто был не согласен с проводимой властями политикой.

Что в войне с фашизмом Советский Союз потерял не двадцать миллионов человеческих жизней, а значительно больше, тогда знать было не положено. Было запрещено знать, что не только гитлеровское зверье повинно в расстрелах, умерщвлении свыше шести миллионов здоровых мужчин и женщин, беспомощных детей и стариков еврейской национальности. Я не имел права знать, что в стране десятилетиями по политическим, идеологическим, национальным и религиозным мотивам свирепствовал геноцид, организованный коммунистами. Не смел знать, что на одной шестой части планеты были тысячи “гулагов”, кровавых “Бабьих яров”... Все это не только слезы, не только кровь, не только смерть обманутых. Это позор человечества, это проклятье Неба тем, кто преступно играл судьбами людей в рулетку...

По отношению к народу это было высшей безнравственностью на государственном уровне.

Для меня все годы учебы и становления были годами и печали, и слепой веры. Я не задумывался о том, что рядом может быть и иная жизнь...

Как-то вечером меня встретила мать Зохры, сказала, чтобы на воскресенье я не планировал никаких дел и был дома – пригласила на свой день рождения. Я был очень рад ее вниманию и пообещал быть непременно. На радостях купил самые лучшие в те годы духи “Красная Москва”, торт и даже шампанское.

Когда я пришел, гости уже были в сборе. Как обычно, женщины сустились еще на кухне, а мужчины на веранде спорили, убеждая друг друга в чем-то. Вскоре всех пригласили в столовую, где был накрыт большой стол. Как я заметил, гости давно были знакомы друг с другом. Представляли только меня. Рассаживались по супружеским парам. Зохра посадила меня рядом с маленьким Боходырчиком, а немного погодя на свободный стул справа от меня села и сама, принаряженная, довольная.

Михаил Михайлович, главный врач больницы, где работала именинница, и его жена Ревекка Соломоновна сидели рядом с хозяином дома. Слева от него – больничная акушерка Ануш с мужем. Напротив меня сидел Керим Садыкович, тоже врач, со своей миловидной женой, похожей на монашенку. Еще дальше – бабушка Зохры, Айша Юлдашевна, с такими же тонкими чертами лица, как у дочери.

За многоголосым столом неожиданно раздался ясный и звонкий голос Ревекки Соломоновны:

– Прежде всего необходимо произнести тост за здоровье нашей именинницы, – и, достав из сумки аккуратный аптечный флакон, она мягко добавила: – Чистый спирт.

– Еще бы графинчик с водой – и все будет в порядке, – поддержал жену Михаил Михайлович.

Через пару минут на столе появился графинчик с разбавленным спиртом. Рядом с графинчиком появилось и шампанское. Мужчины вспомнили фронтовые морозные дни... Отказавшихся выпить стопочку не было.

Первым произнес тост Михаил Михайлович, красивый высокий человек, весь седой. На его пиджаке поблескивали планочки боевых наград. Еще накануне войны он со своей спутницей жизни приехал в Узбекистан из Львова. Отсюда уходил на фронт. Вернулся и снова стал заниматься своей благородной деятельностью.

– Думаю, меня все поддержат, если от имени коллектива работников больницы, моей семьи и всех вас, дорогие друзья, я поздравлю нашу уважаемую Лейлу Закировну с днем ангела и пожелаю семейного счастья и еще столько же лет полноценной жизни, сколько исполнилось ей сегодня. Чтобы сохранила свою очаровательную молодость, – заключил он, протянув бокал в сторону чуть растерявшейся от волнения хозяйки.

Я тихонько спросил у Зохраны:

– Сколько?

– Сорок, – шепнула она.

Затем пошли тосты за здоровье матери, родившей и вырастившей дочь, напоминающую весенний полевой цветок – мак. Были тосты за друга жизни, за Победу, за память близких и друзей, погибших на фронте... Потом зазвучала музыка...

Всего было вдоволь – в ход пошли юмор, остроты. Особенно много их знал Михаил Михайлович, большой забавник, весельчак. Несмотря на годы, когда страшно было вымолвить лишнее слово, он, еврей, не боялся рассказывать политические анекдоты.

Мне запомнились несколько его забавных шуток...

“На пятидесятилетие Владимира Ильича друзья решили преподнести ему сюрприз: загримировали Сталина под Ленина... В комнату вошел второй Ильич: лысина, рыжая борода, костюм, рост – ну, прямо Ленин... Владимир Ильич подходит к своему двойнику и, похлопывая его по плечу, говорит: “Не пойдет, не пойдет”. “Почему же?” – спрашивает Зиновьев. “А сапоги-то, батенька, сапоги”, – последовал ответ.

Вот другой: “Гитлер люто ненавидел евреев и коммунистов. Младшая дочь немецкого коммуниста-еврея Ева Браун, будучи агентом Кремля, стала любовницей фашистского фюрера и с тридцать девятого года до последних дней жизни медленно сводила его с ума”.

А вот еще: “Надежда Крупская вышла замуж за Ильича по расчету. Сделала все, чтобы не расплодились подобные мужу революционеры...”

Мне было даже лестно сидеть за одним столом с человеком, обладающим тонким, аристократическим юмором.

– Может, и наш молодой гость расскажет что-нибудь интересное? – спросил Амин Нурматович, заметив, что я больше всех и громче всех хохотал.

– Я люблю слушать, а рассказывать не умею, – сгорая от неловкости, ответил я.

Посидев еще немного, собрался уходить. Попрощавшись, вышел во двор. Следом выбежала Зохра. На ступеньках задержала меня, как-то лихорадочно поцеловала в губы, сильно стиснув руку, сказала: “До завтра”. Когда я пришел в себя, она уже исчезла...

Дверь своей комнаты я никогда не запираю. Уже под утро сквозь сон чувствую: кто-то пристально смотрит на меня. Открыл глаза – надо мной стоит женщина... В халате. Показалась высокой. Почему-то подумал, что это Лейла Закировна. То ли сон, то ли явь... Прикрывшись одеялом, я чуть приподнялся и спросил:

– Что-нибудь случилось?

– Да, – услышал я голос Зохры.

Как будто бес в нее вселился – прыгнула ко мне, стала прижимать к постели.

– Да что с тобой? – изумился я.

– Не спрашивай... Давно из-за тебя мучаюсь... Люблю тебя, люблю...

Потом отодвинулась на краешек кровати, улыбаясь, стала тянуть меня за нос.

“Добром не кончится”, – подумал я. Вскочил с кровати, стал успокаивать ее, убеждать, что это невозможно, что она еще дитя.

– Я женщина! – бросила она мне. – Вон дома мальчуган – это мой сын!

Испугавшись, я даже отшатнулся от нее. “Неужели хочешь, чтобы я женился на ней?” – ударила в голову мысль. Грубо оттолкнул ее.

Во дворе послышался звук отворяющейся двери. Она тут же к окну – через занавесочку смотрит, палец приложила к губам. Немного выждала и бесшумно исчезла...

Вечером пришла с кипой книг, конспектами. Мы, конечно, ни минуты не занимались. Шло продолжение утренней драмы.

– Что это спозаранку было с тобой? – спросил я.

– Я полюбила тебя, как только увидела. Я чувствую, что мы давно знакомы, давно близки...

– Все это твои фантазии. Ну, а если бы я не приехал в Ташкент?..

– Все равно встретила бы тебя, может, в Баку, может, в Москве...

– Детский лепет какой-то, ты просто несмышленьш.

– Сам ты несмышленьш. Моему сыну четыре года.

– Не валяй дурака и мне голову не морочь...

– Я уже пять лет мужчины не видела...

– Кто же ты в таком случае? Святая? Безгрешная?

– Это моя боль, моя печаль, – вздохнув, сказала она.

– Неужто? Как интересно! Прямо чуть ли не из Корана сюжет, – хмыкнул я.

– А мне перед тобой не стыдно. Только отец с матерью да бабушка знают о моей беде. Но тебе расскажу. Ты мне дорог.

– Эх, куда тебя занесло!

– Хочешь, расскажу?

– Расскажи.

И она стала рассказывать... Осенью сорок второго года отца призвали в армию. Служил он в 83-й Туркестанской горно-стрелковой дивизии, сформированной в Ташкенте. В начале сорок третьего дивизию, в которой он служил, перебросили на Сталинградский фронт. Мать пошла в военкомат и настояла, чтобы ее, хирурга, тоже отправили на фронт. Зохра осталась с бабушкой. Училась в десятом классе, была отличницей. И вот однажды молоденький физрук, вернувшийся с фронта с простреленной рукой, после занятий в школьном спортзале соблазнил ее... и она сразу забеременела. Не понимала, какие могут быть последствия.

– Когда уже стал расти живот, бабушка догадалась. Что с ней было! От горя почернела, страшилась всеобщего позора. Проклинала свою дочь, зятя, войну, судьбу... Пошли упреки, угрозы, мол, что это и откуда... Однажды чуть не убила сковородкой... Приближались летние каникулы, становилось все труднее скрывать. Бабушка кинулась к маминной подруге, работавшей в военном госпитале. Умертвить ребенка, который уже ножками, ручками давал знать о себе, по мусульманскому закону, шариату, – грех, да и поздно уже было. Побоявшись, что не разрожусь, сделали кесарево сечение, а заодно и трубы перевязали, а то вдруг до возвращения родителей еще забеременею. Да и будущее страшило: когда закончится проклятая война, вернутся ли родители?..

В мае сорок пятого отца и маму демобилизовали. Им пришлось примириться с тем, что в доме появился мальчонка. Да и бабушка уже успокоилась, привыкла к правнуку, полюбила его. А зятю и дочери заявила: мол, видно, такова судьба, воля Неба. Главное, они оба вернулись с войны живыми и невредимыми, ну а невинное дитя помехой не будет...

Я толком не понимала, что я уже мать, да и не кормила его почти. Училась в университете, вечно была занята, а Бо-

ходырчика растили и бабушка, и мама, и отец. Боходырчик и за мать меня не признает, мамой бабушку зовет, а на людях – он мой братишка.

Она глубоко вздохнула и продолжала:

– Как перед Богом, только тебе рассказала. Мне теперь стыдно будет смотреть в твои глаза, если перестану любить тебя... Хочешь, покажу, что у меня здесь?

Она привстала, подняла подол платья – ниже пупка, поперек маленького живота виднелся шов, будто пришта лен-точка из розовой ткани.

Я молчал, пораженный, стал ждать, что же дальше... Она тут же, сверкнув глазами, резко опустила платье.

– Не гони меня. – с мольбой прошептала она. – Без тебя все не мило, не ночи, а одни страдания... Не могу...

Из глаз ее потекли слезы.

– Никогда в жизни не смогу любить другого. Ты... Ты... – дрожа всем телом, плакала Зохра.

Мне стало жаль ее. Встал, подошел к ней, стал успокаивать, прижал ее к своей груди. Ее волосы коснулись моей щеки. Как жарко она дышала. Запах женщины одурманил меня, сердце заколотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Закружилась голова. Боясь, что упаду, хотел лечь и потянул ее за собой. Еще мгновение... и мы вместе провалились в пропасть...

Зохра очнулась первой. Сквозь слезы причитала что-то ласковое, доброе, щедрое, благодарное. От счастья то смеялась, то плакала. Временами я с трудом улавливал ее слова. Говорила, что будет принадлежать только мне одному. Во время любви, воспламеняясь, она старалась раз за разом помочь мне добраться до бездны ее необъятной души. Снова ласкала, целовала, долго не выпускала меня из своих горячих объятий. Опять и опять страстно шептала: “Буду принадлежать только тебе. Никто не будет знать о наших отношениях. Это будет моей тайной... Священной тайной...”

В ответ я только мог вымолвить: “Зохра, ты настоящая, действительная Венера...”

Мы встречались часто, особенно по воскресным дням – вплоть до моего отъезда на летние каникулы на Кавказ. Настроение ее часто менялось, бывали моменты, когда она готова была меня разорвать, но потом становилась тихой, спокойной, как будто ждала чего-то. Посмотреть со стороны – можно подумать, что мы муж и жена...

Как-то воскресным вечером ко мне заглянул сам Амин Нурматович. Разговор начал издалека. Казалось, он что-то подозревал. Спросил, нравится ли мне Зохра. Я лукаво спросил: “Неужто я нравлюсь ей?”

Он не ответил, как бы выжидая, что я еще скажу.

– Если завершим учебу успешно, хотели просить благословения у родителей.

– Вы не поженитесь.

– Почему же?

– Нет, – повторил он снова, словно владел некой тайной.

– Почему вы так думаете, ведь мы уже не дети? – не понимая его категоричности, искренне недоумевал я.

– Потому, что вы люди разные.

Желая перевести разговор в шутку, я сказал:

– Естественно, разные, она – девушка, а я – холостой парень.

– Ты еще молод, наивен, не понимаешь, что у вас веры разные. Ни мы, ни твои родители на это не пойдут.

– Ну, со своими родителями я разберусь, – уверенно сказал я.

Странно мне показалось: член правительства, коммунист, а завел разговор о вере, о которой мы с Зохрой почти ничего не знали.

– У Зохры есть жених, мой родственник, – мягко улыбаясь, сказал он.

Его слова потрясли меня. “Почему же об этом не сказала сама моя утренняя звезда? Не она ли и прислала отца? –

подумал я. – Немыслимо, чтобы мое происхождение стало препятствием: для союза мусульманки с иудеем!”

– Ну что ж, я рад за вашу дочь, – сказал я. – У нее дивный характер и отзывчивое сердце. Ваш родственник будет счастливым человеком.

– Думаю, мы друг друга поняли. Это беседа двух мужчин, и больше никто не должен знать о ней. – Сказав так, он надолго задержал мою руку в своей сильной руке.

На летние каникулы я уехал на Кавказ и больше двух месяцев пробыл в родительском доме. Не успел еще прийти в себя с дороги, как Зохра вбежала ко мне в комнату и радостно объявила:

– Весной выхожу замуж!

– Не за меня ли!

– Нет, за одного... богача.

– Ну, и за кого же?

– За директора одной крупной хлопковой базы... Ты не думай, он очень хороший человек, с высшим образованием, молодой еще, недавно потерял жену...

– Твоей веры?

– А что? Моей... Мы почти равны, – сказав так, она прикусила нижнюю губу.

– Ну что тебе сказать... Я рад. Храни себя для будущего мужа. А в моем сердце ты оставила добрый след.

– Не сердись, я тебя люблю по-прежнему.

– Знаешь, кавказцы такой любви не понимают...

У Узбековых в доме я жил еще некоторое время. Мне казалось, что я маячу у них перед глазами. Было какое-то горькое ощущение: терзали и обида, и разочарование. Надо было искать себе другой угол и работу.

Загадочно построен этот мир, загадочна в нем и судьба человека. Близкие приятели Узбековых – Михаил Михайлович и его жена – оказались людьми, благодаря которым я совершенно неожиданно сделал главный свой выбор в жизни. Решив обратиться к ним за помощью, я в один из но-

ябрьских дней пошел к Уманскому в больницу. В приемной сидела девушка, чем-то похожая на Зохру. Такая же смуглая, блестящая черная коса, невысокий лоб. Но это была не Зохра. Я хорошо знал, что сестер или родственниц, похожих на нее, у Зохры не было. Еще раз посмотрел на незнакомку. Большие карие глаза, лицо приятное, доброжелательное, красиво очерченный нос, чувственные губы.

Я сел рядом, заговорил с ней. Она отодвинулась, пересела на другой стул. На вопросы отвечала нехотя, скупно и сдержанно. На меня не смотрела. А голосок был мягким, певучим. Слово за слово, выяснилось, что она приехала из Намангана для прохождения стажировки. Вот ждет решения главного врача. Ко всему оказалось, что ее родители еще до революции жили в Дербенте. Я был так рад встретить в далекой Средней Азии представительницу своего немногочисленного народа, что в тот миг почувствовал себя счастливым. Возможно, моя радость передавалась и ей.

Из кабинета выглянула медсестра и позвала ее. “Помоги ей!” – мысленно воззвал я к Богу. Через некоторое время она вышла и, мило улыбаясь ямочками на щеках, подняв большой палец, показала: “Во!”

Наступила моя очередь зайти к главному. Не зная, как обратиться к незнакомке, я рискнул сказать на своем языке: “Подождите меня”, затем зашел в кабинет.

У Михаила Михайловича, кроме медсестры, сидела Ревекка Соломоновна. Как оказалось, она заведовала акушерским отделением. Оба, и муж, и жена, очень дружелюбно стали расспрашивать о моих делах. Искренне удивились, что я с последнего курса пошел работать не по специальности. Спросили, чем могут быть полезными. Ответил, что хотелось бы подыскать комнатку...

– А мы было подумали, что ты пришел просить за эту молоденькую акушерку...

– Да я ее здесь впервые увидел. Правда, из короткого разговора в приемной узнал, что мы чуть ли не земляки.

– Если хочешь, я вас познакомлю, она у меня в отделении будет стажироваться целый месяц, – как давняя знакомая, сказала Ревекка Соломоновна.

– Спасибо, если что, непременно к вам обращусь.

– Ну, смотри, – в один голос сказали супруги. – А насчет комнаты мы подумаем, загляни к концу недели. Может, еще что надо? Не стесняйся, мы люди свои.

– Да нет, больше ничего, спасибо.

Выхожу, а моей землячки нет – не дождалась. Пошел к выходу. А она, оказывается, ждала меня в холле. Вот так я познакомился со своей будущей женой Иврией...

Через неделю пришел к супругам Уманским не только по поводу жилья, но и еще с одной просьбой – принять на работу моего друга.

Когда я сказал Узбековым, что переезжаю на другую квартиру, они были крайне удивлены. Лейла Закировна так прямо и сказала:

– Как жаль, мы привыкли, что в доме еще один мужчина. Нам тебя будет не хватать...

Может, она была и права. Ведь я прожил у них почти год. В свободное время вместе с их семьей работал во дворе. Особенно приятно было весной и осенью, когда ухаживали за виноградником, приводили в порядок огромную, во весь двор, беседку. Чужим себя у них не чувствовал... Зохра молчала, но, когда стал прощаться со всеми, глаза ее заблестели, хотя виду она и не подала. Пошла провожать меня до угла улицы. Мы распрощались сердечно, по-человечески. Мне показалось, что она изменилась, стала еще краше. Пожелала мне большого-большого счастья, как самому близкому человеку.

Я с ней долго не виделся – почти двадцать лет... Однажды в холле первого этажа гостиницы “Москва” услышал тонкий женский голос, произносящий мою фамилию. Огля-

нулся... В легком национальном платье, солнцезащитных очках, приближалась невысокого роста женщина.

– Аарон, ты ли это!

– Да, я...

– Не узнал?

Только по голосу и узнаю свою утреннюю звезду. Передо мной стояла томная, заметно располневшая Зохра. Держалась свободно, так же лукаво улыбалась. На груди ярким огоньком горел значок депутата Верховного Совета СССР. Пошли воспоминания.

– Я уже знала, что тебя нет в Узбекистане... Исчез, испарился... Как ни приеду в Москву – все жду встречи с тобой: вдруг увижу в каком-нибудь важном ведомстве или просто на улице, в магазине. Поверишь, даже в отпуске – на Кавказе, в Крыму – глазами тебя искала в толпе. Так хотелось увидеть твою улыбку, услышать твой голос. Нет... Думала, совсем потеряла. Как я рада встрече! – глаза ее искрились...

Настала моя очередь расспрашивать.

– Муж где теперь работает?

– Муж прежний, а работает высоко... – Она подняла голову к потолку: – В своей столице – первый, – без особой радости добавила она.

– Ну, а ты, ты-то где?

– Ой, не спрашивай!..

– Секрет?

– В ЦК, – и своими пухлыми пальчиками Зохра показала цифру.

– О-о! Надо же! Молодец, очень и очень рад за тебя.

– Приезжай, и тебе найдем место.

– Поздно... Как мама, отец?

– Их уже нет в живых.

– Извини... Мне когда-то очень нравилась твоя мама. Теперь я могу тебе признаться: до безумия был влюблен в нее. Пусть им земля будет пухом. Ну, а сын, Боходырчик, как он?

– Секретарь советского посольства во Вьетнаме.

– Ну и слава Богу. А тебя-то как зовет?

– Ясно, мамой. А второй...

– Как? – вырвалось у меня.

– Это его сын, Хамид, он здесь в союзной прокуратуре.

– Какие вы все молодцы. Ты должна быть счастлива!

– Разве только в этом счастье? Дорогой мой человек, счастья-то мало было у меня. Я и сейчас не постесняюсь сказать тебе. По-настоящему счастлива была только один год – год моей молодости, моей любви, когда горела и жила. Ой, какая была пора! Любила страстно, как сумасшедшая.

– Это ты о какой любви?

– А то ты не знаешь. Я готова была за тебя умереть, ноги твои обнимать. Это ты подарил мне первую настоящую любовь. А что теперь – ну, достаток, положение... А в сердце пустота какая-то, грусть, неудовлетворенность. А... надо жить, работать...

– Разве я виноват! Ведь это ты порвала со мной.

– Это было моей второй жизненной трагедией. Первая – когда не было рядом родителей. Вторая – когда они были рядом... Это судьба моя такая – несчастная.

– Ну давай поженимся. – пошутил я.

– Эх, милый мой человек, хоть я и замужем, ты всегда со мной. Ложилась с мужем, а думала о тебе, только тебя представляла. – Сомкнув три пальца и тыча ими в сердце, сказала: – А ведь здесь пусто... понимаешь, пусто...

Заметив, как ей нелегко, я поспешил перевести разговор на другую тему.

– Наверное, жизнь в Ташкенте кипит, все бурлит? Вы теперь республика не только белого, но и желтого, и голубого золота. Богатая страна Узбекистан... Народ живет зажиточно?

– Да кто как, фокусников и у нас хватает. Да и показухи тоже слишком много...

Мы еще долго сидели в холле в мягких кожаных креслах и говорили, говорили. На прощание я ее крепко поцеловал в

щеку. Не взглянув на меня, она быстрыми шагами поспешила к выходу. А я поднялся в свой номер. Шел и размышлял: зачем судьба распорядилась так странно нашими жизнями?..

Была еще одна неожиданная встреча в Кремле, всколыхнувшая, словно вихрь, узбекские страницы моей жизни. Однажды во время небольшого перерыва между заседаниями Верховного Совета в Георгиевском зале я заметил, как, всматриваясь в лица окружающих, в мою сторону рассеянно шел Нуритдин Акрамович Мухитдинов. Шел один. Рядом никого. В это время я стоял в группе товарищей из Узбекистана. “Смотри, ваш *ака** идет”, – сказал я одному из них. “Да ну его, надоел всем”, – процедил тот и отошел.

Его реакцию я воспринял болезненно и пошел навстречу прохаживающемуся изгою. Мы тепло поздоровались. Обеими руками я крепко обхватил его крупную, чуть влажную руку. Растерянным голосом он спросил: “*Якшими сиз?* (Хорошо ли чувствуете себя?)”. Не выпуская мою руку из своей, добавил: “Где работаете?” Я ответил. “Вы, Нуритдин Акрамович, меня не помните?” – “Лицо знакомо, а точно не могу вспомнить”.

Я напомнил ему Наманган, сказал, что когда-то Пашшаев приводил меня к нему на собеседование. Он еще звонил секретарю по кадрам, чтобы тот побеседовал со мной...

Как-то невнятно, больше движением головы, он подтвердил: “Да, да”.

В это время раздался звонок, приглашавший участников в зал заседаний. Кивнув друг другу, мы расстались...

Сидя в кресле, я вспоминал, как этот, ныне опальный человек стоял у колыбели моей трудовой жизни...

Я был свидетелем его живой, энергичной деятельности... В далеком сорок девятом году шла ответственнойшая пора

* Отец, вождь, глава (узб.).

заготовки хлопка. Каждый вечер, часто далеко за полночь, устраивались селекторные совещания с руководителями хозяйств, районов. Сочетание требовательности и уважительности к личности собеседника со стороны первого секретаря обкома крупнейшей в республике области. Его интересовало все и, конечно, прежде всего ежедневные данные по сбору хлопка-сырца в каждом колхозе, районе, беспокоила подготовка к зиме, волновали думы о будущем урожае, тревожило положение дел в животноводстве. Он заботился о тружениках области, об их обеспечении всем необходимым. Сидя у радиоприемника на рабочем месте, я гордился тем, что областью, где я живу и работаю, руководит Мухитдинов.

Хорошо помню 11 декабря того же года. Полдень. Железнодорожный перрон. Насквозь пронизывающая снежная пурга. Крутой мелкий снег, будто жгучие осколки, обжигал лица стоявшим на открытой платформе вокзала, не давал ни дышать, ни переговариваться. Первого секретаря обкома партии – тридцатидвухлетнего Мухитдинова – прибыли провожать партийные, советские и комсомольские работники области. В новой ондатровой шапке-ушанке, в модном пальто с каракулевым воротником, он тепло прощался со стоявшими у вагона товарищами. Многие из нас не знали, что Нуритдин Акрамович в составе узбекской делегации едет в Москву на всенародные праздники по случаю семидесятилетия со дня рождения вождя, не догадывались, что обратно он уже не вернется, останется в Ташкенте и, войдя в высший эшелон республиканской власти, превратится в первого ака Узбекистана. Но знал ли сам Мухитдинов, что ровно через семь лет он будет участником осуждения культа самодержавного монарха? Представлял ли себе, что вскоре взойдет на кремлевский олимп и станет одним из лидеров страны? А еще через семь заколдованных лет уже ему самому предъявят счет за столь головокружительный взлет, и в самом расцвете

сил, в сорок четыре года, он будет низвергнут до рядового члена ЦК...

А началась эта метаморфоза в далеком 1942 году, когда на южном фронте его приняли в ВКП(б). В сорок шестом он – лектор ЦК, через некоторое время уже работал первым секретарем в двух обкомах партии. В пятидесятом году – секретарь ЦК по идеологии. Уже в следующем году – председатель правительства республики, а в тридцать восемь лет – главный политический деятель Узбекистана. В декабре пятьдесят седьмого – член Президиума и секретарь ЦК КПСС, депутат Верховных Советов страны и своей республики. Одновременно он – председатель комиссии по иностранным делам Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

На XXI съезде КПСС Мухитдинов, наряду с другими высшими руководителями партии, выступает с речью в прениях по докладу Хрущева. Многие из участников съезда признали речь сына узбекского народа программной в области экономики и политики. Позже, анализируя его выступление и сравнивая с речами равных ему секретарей Суслова, Кириленко, Брежнева, я заметил, что выступления последних были всего лишь повторением высказываний на встречах с избирателями в предвыборной кампании пятьдесят восьмого года.

Как один из ярких лидеров государства Мухитдинов часто выезжал в страны Ближнего Востока, Азии, Африки, много ездил по родной стране. Вскоре после XXI съезда партии он прибыл в Туркмению. Руководители республики решили показать секретарю ЦК КПСС чудесный уголок природы – Фирюзу. Проезжая по автострате, тогдашний первый секретарь ЦК решил похвастаться насаждениями из дикорастущих деревьев вдоль всей трассы, подчеркнув, что все это дело рук столичной молодежи. Одобрительно кивнув, гость обратил внимание сопровождавших на сиротливо выглядывавшие из-за деревьев пустующие массивы, благо-

желательно посоветовал освоить их под фруктовые сады. И действительно, прошло всего четыре года – и по обе стороны многокилометровой фирюзинской дороги, у подножия гор на десятках гектаров зацвели яблони, абрикосы, сливы...

Накануне отъезда в Москву перед активом республики с большой речью о внутренней и внешней политике Советского Союза выступил радушно встреченный участниками собрания Нуритдин Акрамович. Не раз перед нами выступали ораторы типа Ильичева, Поспелова, секретари ЦК Козлов, Кириленко, Фурцева и другие. Но такого выступления, причем четырехчасового, без шпаргалок (перед ним были лишь небольшие карточки с основными вопросами) я никогда не слышал. “Не пророк ли выступает с высокой трибуны?” – думал я тогда.

17 октября 1961 года Мухитдинов – в президиуме XXII съезда КПСС, для выступления ему отводится столько же времени, сколько остальным членам Президиума и секретарям ЦК партии. Речь его была блестящей, высокоаргументированной.

29 октября он, как и другие руководители партии, присутствует на торжественном митинге, посвященном открытию памятника Карлу Марксу в центре Москвы. На следующий день Н.А.Мухитдинов под номером сто четыре избран членом нового состава Центрального Комитета КПСС.

31 октября. Пленум ЦК. И вдруг узнаем, что Мухитдинова нет в составе высшего партийного органа... На политической арене появилась новая фигура – Ш.Р.Рашидов, как поговаривали, закадычный друг Брежнева...

Что же случилось? Скромный среди нескромных, статный среди нестатных, молодой среди немощных. Кому не угодил? Почему вдруг закатилась его звезда? Что случилось между 30 и 31 октября? Что могло не понравиться Хрущеву и тому, кто уже с пятьдесят девятого года метил на пост

генсека? Какое такое “особое мнение” узбекского народа мог высказать земляк и выдвиженец Мухитдинова – Рашидов?..

Мысленно спрашивал я у узбекских друзей: как же вы поступаете со своим вчерашним кумиром? Когда надо было, за семь верст протягивали дрожащие руки, а потом, прикладывая их к своей груди или бороде, до пояса кланялись. Стоило ему лишь позвонить, вы тут же вскакивали со своих кресел, стоя отвечали: “Хоп, майли, ака, киламиз!” (“Хорошо, ака, сделаем!”) А теперь отворачиваетесь от своих бывших авторитетов... Но ведь именно при Мухитдинове Узбекистан начал процветать, страны мира стали признавать Ташкент “воротами Востока”. Пожалуй, в первую очередь благодаря этому и сам Мухитдинов стал одним из лидеров партии, государства...

Как-то в “Известиях” я прочитал кровью написанное письмо Ядгар Насриддиновой, долгие годы работавшей председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР. “Да будь прокляты моя карьера, те награды и почести, которыми меня осыпали. Поистине, минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь...” – приходит к выводу первая когда-то женщина, прекрасная *апа** советского социалистического Узбекистана, все в жизни имевшая и все потерявшая, сломленная.

Для чего выдвигались с окраин деятели, подобные Мухитдинову и Насриддиновой? Быть может, для каких-то имперских игр... Ну, а если вдруг помешают, будут шагать не в ногу, – можно и в бараний рог согнуть, отбросить... Что стало с теми, кто был вместе с Мухитдиновым на олимпе власти, что оставили они своим сыновьям и внукам? Увы, в этом мире, к сожалению, больше серости да глупости...

Как же могло случиться, что титана в расцвете сил выбросили за борт? Страна, где камнями забрасывают своих пророков, предадут их анафеме, забвению, обречена!

* *Мать* (узб.).

Не повторится ли история? Почему же непонятна такая простая истина: человек быстро цветет, мучительно зреет, а на применение таланта, мудрости уже не хватает времени. Вот и Нуритдин Акрамович – чем же он провинился перед судьбой, перед Богом?.. Может, это незримая шкала деяний, грань судьбы? А может - десница Божья?

В тот драматический день на сессии Верховного Совета мне почему-то стало жаль его. Один из вождей страны, забытый в джунглях коммунистической системы, он искал сочувствия, признания... Жаль, что сдался, считал себя несчастным, искал сочувствия у бывших “друзей”. Но, думаю, не это главное. Независимый, нерастоптанный дух передастся, возродится в ком-то другом. Не стоит думать только о сегодняшнем дне, он может показаться и тяжким, и неудачным. Не мудрее ли, вспоминая прошедший, думать о дне грядущем?..

Вроде бы самым счастливым должен был быть Сталин: сын сапожника, в смутное время стал главой крупнейшего государства. Ему служили даже дьяволы, он мог соревноваться с самим богом. Но мог ли Сталин понять вообще, что такое счастье?.. Хрущев, расшатавший огромный саркофаг советского народа, десятилетиями воздвигавшийся стараниями большевиков кровью и слезами народов, тоже должен был быть счастлив. Но парадокс – во всем этом он обрел лишь личную трагедию. Брежнев – тот и вовсе считал, что уже одно его существование – это и есть счастье. Горбачев, по причине сложившихся в партии обстоятельств, придя к власти, видел счастье в том, чтобы мир повидать и себя показать...

Что же такое счастье, в чем оно? Почему и бедняк, и властелин жаждут его, в поисках счастья терзают себя, а чаще других? Спросить бы у влюбленного или певца, у соловья или орла... А может, у самого себя?

Такие раздумья и побудили меня к новым действиям. В поисках счастья я двинулся в новый поход.

ДА БУДЕТ ТАК!

Говорят, что “ашхабад” в переводе на русский означает “город любви”. Я так конкретно это и воспринял. Приобретенными знаниями, служебным и творческим ростом, да и неожиданностями в личной жизни я во многом обязан республике щедрого солнца.

В Ашхабад я переехал, когда он еще не оправился от землетрясения. В октябре сорок восьмого года в один миг был разрушен весь город, погибло и пострадало более ста тысяч человек. В больницах Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Таджикистана лежали тысячи искалеченных мужчин и женщин, потерявших своих близких, дети, оставшиеся без родителей.

Тогдашнее руководство во имя лжепатриотических устремлений скрывало не только от мировой общественности, но и от собственного народа истинные размеры разрушений, несчастий и страданий, выпавших на долю ашхабадцев.

Рассказывая о беде жителей Туркменистана, я вспоминаю чернобыльскую трагедию украинцев, белорусов, россиян и других народов, в которой вновь проявилась все та же безнравственность, бесчеловечность и лживость кремлевских вождей, цинизм ученых мужей, черствость врачей, ни во что не ставящих человеческую жизнь. Кто велит так поступать?

В то далекое время в Ашхабаде на месте бывших улиц виднелись одни завалы, кругом – толстый слой пыли, осевший после разрушения домов и строений. Тысячи горожан ютились в землянках, мазанках. И с этими жалкими временками явно дисгармонировали многоэтажные административные здания из бетона, кирпича, туфа, фасады которых, как бы насмешливо улыбаясь, важно говорили прохожим: “А это я!” Эти сооружения принадлежали союзным и союзно-республиканским органам и ведомствам, которым, конечно, были доступны высокопроизводительная техника, специальные фонды, повышенные расценки.

Центр, союзные органы хорошо усвоили излюбленное выражение первых революционных лет: “Даешь!” Давай хлопок, нефть, газ, давай шерсть, шелк, каракуль, овощи, фрукты, давай живой товар – солдат. Короче, давай все, что у тебя есть.

И республика отдавала, причем за бесценок, а себе мало что оставляла... Но зато имела право взывать о помощи сколько хватит голоса. И вот годами республика просила и просила – письменно и устно, обращаясь к отцу-монстру, помочь восстановить разрушенное, залатать экономику, облегчить убогую жизнь народа. Народ Туркмении, обладавшей большим экономическим потенциалом, производившей огромное количество сырья, влачил жалкое существование. Беспросветная нищета, насилие властей, особенно в селах. Долгие годы колхозник на целый день работы брал с собой в поле только кусок лепешки да заваривал чай из яндака – верблюжьей колючки. Когда к крестьянину, сельскому учителю приходил гость, хозяин дома, страдая от унижения, ходил по соседям, выпрашивая что-нибудь съестное, чтобы угостить приехавшего.

Повседневна шла накачка во имя “высоких” урожаев и дутых показателей... На моих глазах под хлопчатник вырубались плантации виноградников, шелковицы, сады, изымались плодородные земли оазисов и пастбищ, отбирали даже

крохотные земельные участки колхозников. Десятилетиями за гроши вывозились из республики в виде сырья результаты безропотного труда колхозников и рабочих. Дважды мне приходилось быть свидетелем подобного беспредела на международном пушном аукционе в Ленинграде. Обидно было наблюдать, как бесценный туркменский каракуль продавался на внешнем рынке по дешевке. Бывали годы, когда его не брали и по полтора доллара... Несмотря на это, республику заставляли ежегодно забивать миллион ягнят – четверть поголовья колхозно-совхозного овцеводства.

Помню, как в Среднюю Азию приезжал Косыгин, работавший в правительстве Сталина министром легкой промышленности. Он был ужасно недоволен тем, что срываются планы сдачи хлопка-сырца. Выступая перед активом хлопководческих республик, он со свирепым, искаженным лицом разносил всех и вся. От имени вождя народов требовал “выжимать все соки”, чтобы планы года всеми хозяйствами были выполнены...

Трудно описать, каким стал тот сельскохозяйственный год для тружеников не только сел, но и городов. После ноябрьских праздников я попал по служебным делам в один хлопководческий колхоз. Встретившись с высоким кремлевским гостем, сюда приехал первый секретарь обкома партии. Уже начинались заморозки. На полях – жалкие остатки хлопковых ощипков, хлопчатник весь покрыт инеем, вокруг – сизая густая мгла, редкие силуэты колхозников. Не поверив словам председателя хозяйства, что многие сборщики не вышли на работу по болезни, хозяин области решил вместе с “представителями общественности” обойти дома колхозников. Попросил и меня принять в этом участие, добавив, что я буду представлять “центр”...

Во многих жилищах нас встречали только дети или женщины с младенцами на руках, или беременные. Вошли во двор, где стояла полуразрушенная лачуга из глины. Навстречу выбежала собака. Увидев столько гостей, лениво пошла в

сени. Дверной проем жилища был завешен какой-то мешковиной. Приподняв ее, первым вошел председатель, за ним – остальные. На земляном полу, покрытом старой кошмой, сидел мужчина, страшно худой, весь черный, давно не бритый. На круглой деревянной подставке он месил тесто. Рядом сидел ребенок.

На вопрос секретаря парторганизации колхоза, почему тот не в поле, хозяин дома, не вставая, сиплым голосом ответил: “Не могу”, молча показал на тесто, на ребенка, пугливо следившего за действиями раздраженного отца. Белыми от муки руками он развел по сторонам и чуть не плача сказал, что все болеют. В ответ послышался чей-то недовольный гнусавый голос. Словно молния сверкнула в глазах, вскочил отец семейства, вызываясь рванул ворот рубахи и крикнул: “Нате, убивайте, не могу... вон, в огне горят!” – и резко ткнул рукой в темный угол, где лежали больные жена и дети.

У меня слезы подступили к горлу. Едва сдерживаясь, вышел во двор. Смотрел в затянутое тучами небо и думал: даже природа может сжалиться над людьми, а здесь, на земле, человек забывает о том, что на свете должно быть еще и милосердие, сострадание. Что за тупость, что за цинизм, кому, в конце концов, легче от этого?..

Подобные леденящие душу случаи я видел не один раз. Целые народы были поставлены в нечеловеческие условия бытия, лишены элементарного достоинства. Каково бы ни было правление Романовых, но и за триста лет они не принесли столько морального, духовного, материального ущерба народам многострадальной страны, сколько было нанесено за время правления большевиков. Все государство выглядело огромным, наспех построенным бараком, где бедствовали советские люди. Обособленно стоял роскошный дворец, где без забот и волнений кайфовала высшая коммунистическая элита со своими многочисленными домочадцами, прихлебателями со всего света и всех рангов. И одно-

временно с различных трибун взрослым и детям внушали, что унижения и плевки, извергавшиеся на них сверху, – божья роса, а убогая сегодняшняя жизнь – это завтрашнее благополучие... Есть много рассказов о восточных тиранах, осклопывших здоровых мужчин, чтобы превратить их в послушных слуг-евнухов. Не практиковала ли советская власть в огромных масштабах духовное осклопление собственных граждан, чтобы проводить свою гнусную, бесчеловечную политику!...

Народу не доверяли, всех держали под контролем, на миллионы людей были заведены досье. Руководителями местных органов КГБ, МВД, прокуратуры, связи, финансов, других организаций национальных республик являлись представители Кремля. Я знал десятки замечательных работников, прибывших из других республик, отдавших свою молодость и силы развитию Туркмении. Их имена – в доброй народной памяти. Пройдя суровую жизнь, впоследствии они становились видными деятелями страны. Но куда больше было таких, кто считал себя повелителями. Зачастую это были люди неинтеллигентные, некомпетентные, а то и просто пьяницы...

Как-то ЦК ВЛКСМ на работу в республику прислал своего сотрудника. Спустя некоторое время его, уже депутата Верховного Совета, направили учиться в высшую партшколу. После ее окончания ему захотелось остаться в Москве или “хотя бы где-нибудь в центре”. Но его направили в республику, откуда был послан. Вернувшись, он возомнил себя таким божком... Появились высокомерие, чванливость. Ростом был мал, не по возрасту тучен, зато амбиции хватило бы на десятерых. И все потому, что в руках власть.

Знавал еще одного, матерщинника страшного. Можно было подумать, что по этой части он окончил высшие курсы. Всегда его видели с курительной трубкой в зубах. Однажды я встретил его на площадке очень важного строитель-

ного объекта, который числился долгостроем. В присутствии большой свиты и рабочих честил он одного производителя работ. До того разъярился, что трубка не выдержала бранных слов и выпала из рта. Охотников поднять ее не нашлось. Сам он неловкости не почувствовал, не до трубки было. Его тонкие губы по инерции продолжали двигаться. Вдруг ругань резко прервалась... Он наклонился, поднял лежавшую в цементной пыли трубку, достал белоснежный носовой платок, долго и нервно протирал ее. Пока он был занят этим, подумалось: ну все, мата больше не будет, успокоится. Не тут-то было. Закончив процедуру, он машинально положил платок в карман брюк, трубку сунул в рот – и сквернословие продолжалось...

По работе мне часто приходилось встречаться с прокурорами. В республику их присылали на определенный срок. Приезжал и такой, что совершенно не верилось, что он знал хотя бы азы юриспруденции.

Несмотря на все старания кремлевских посланников, дела на важнейших участках народного хозяйства из года в год проваливались. Добыча нефти падала, выработка хлопкового волокна снижалась, плодородные земли гибли, уровень жизни народа неуклонно падал, росла загрязненность атмосферы, повышалась заболеваемость населения.

Центр вмешивался во все сферы жизни республик: никакой самостоятельности. Там, видно, считали, что повсеместно, кроме Москвы, имелись одни детские сады и ясли и все взрослое население ходило в ползунках. В республиках, областях создавались закрытые зоны, в городах – засекреченные предприятия, подчиненные союзным ведомствам. Без согласия и разрешения центра нельзя было перераспределять материальные и денежные ресурсы, пересматривать планы. Не позволялось самостоятельно решать вопросы подбора и расстановки кадров.

Огромное число кадровых должностей центральные органы брали в свою злополучную (впрочем, для кого-то и сча-

стливую) номенклатуру. Без тщательного “просеивания” в органах госбезопасности местному человеку невозможно было занимать соответствующий пост, расти по служебной лестнице. Детям верующих, раскулаченных, вернувшихся из плена, пропавших в годы войны без вести, лицам, за которыми внимательно следило неусыпное око этих органов, дорога в номенклатуру была заказана.

В стране действовала круговая система доносов. Сквозь “чистилище” спецотдела КГБ проходили все, начиная от первых лиц и кончая руководителями цехов, предприятий, бригадами в колхозах. Сотни тысяч людей, взятых на “крючок”, священнослужители, бывшие уголовники становились верными помощниками, осведомителями карательных органов, каждое звено которых заводило соответствующие картотеки, дела. Эти органы протягивали свои щупальца всюду, где жили и работали, отдыхали и лечились советские (и не советские) граждане. Я располагал многочисленными данными о позорных случаях, когда за крещение детей в церкви, за обрезание мусульманских мальчиков отец или дед их на собраниях коллективов, где они трудились, подвергались безжалостной экзекуции. А если они еще были коммунистами, занимали должности – вылетали как пробки из партии и с работы. В стране властвовали большевизм и госбезопасность, рожденные Лениным и Октябрьской революцией. В шестидесятые и семидесятые годы КГБ стал еще больше расширяться и укрепляться: новые надземные и подземные корпуса, огражденные мощными бетонными и стальными конструкциями, подкрепление из числа услужливых коммунистов и комсомольцев. Создавались специальные школы, лаборатории, базы, исследовательские и другие центры, новейшая техника для слежки и пыток. При КГБ были созданы отделы и управления по культовым учреждениям, литературе и искусству, еврейству. Они готовили специальные материалы, различные справки, записки, по которым в ЦК КПСС, комсомо-

вительстве, плановых органах разрабатывались планы действий...

А делалось это все для того, чтобы отвлекать внимание “братьев и сестер” от острых политических и социально-экономических трудностей в стране, а при необходимости и нагнетать обстановку и обострять положение в регионах. Но всегда главным направлением мощного большевистского давления было одно: держать народ в узде, в постоянном напряжении человеческих возможностей... Но, видимо, властителей преследовал страх перед правдой, иначе для чего им нужен был заслон в виде лжи и обмана, мощнейшие силовые структуры подавления?

В руководящих кругах сидели “товарищи”, которым все было нипочем: хоть народ, хоть бог. Мог же в годы хрущевской оттепели новоиспеченный председатель КГБ Шелепин заявить: “Чего вы дурака валяете? Дайте команду: “Триста человек взять!” – и я их возьму прямо со спектакля, и кончится вся мура!” А что? И взял бы... Брали не только со спектаклей, но и с рабочих мест, из больниц, даже из родильных и детских домов, поднимали с постелей.

Особенно подавленно чувствовали себя евреи или люди, носившие фамилию, похожую на еврейскую. Надо отдать должное властям среднеазиатских республик – здесь ярко выраженного антисемитизма не замечалось. Ум, талант, знания, способности евреев, немцев и представителей других народов использовались в интересах развития науки, культуры, экономики. Но когда дело доходило до должности, входившей в номенклатуру центра, – включалось табу. В определенных кругах шутили, что верблюду легче пролезть в игольное ушко, чем еврею пробраться в высшую инстанцию...

После отъезда очередного миссионера ЦК ВЛКСМ, на должность второго секретаря республиканской комсомольской организации решено было рекомендовать моего друга – энергичного, умного, общительного, короче – настоящего наставника молодежи. Его кандидатура была одобрена и руко-



Туркмения. Развалины древнего г. Ниса.

Туркмения. Развалины древнего города Ниса.

водством республики. С соответствующими предложениями в запечатанном конверте он срочно вылетел в Москву для согласования и последующего утверждения. И что же? После двухдневного собеседования его кандидатуру “завернули”.

В столице переполох. На пленум со всей республики съехались молодые члены ЦК для избрания своего вожака. Руководителю всесоюзной молодежной организации Шелепину позвонил второй секретарь ЦК партии Туркмении. И... какому же унижению он был подвергнут за близорукость и отсутствие революционной бдительности, за подбор в молодежный штаб потенциального агента сионизма... Вся беда моего друга состояла в том, что его фамилия оканчивалась на “ский”. Такую фамилию мог носить не только русский или еврей, но и украинец, белорус, поляк... Вскоре на эту должность прибыл москвич, излюбленным выражением которого было: “Мы хотим растить настоящую молодежь

коммунизма”. Когда целинная страда была в самом разгаре, Шелепин своего протеже, к тому времени уже депутата Верховного Совета, рекомендовал на руководящую партийную работу в Целиноградский край, а после ликвидации края он же вернул его в Москву. На плечах бывшего молодежного вожака уже сверкали погоны генерал-лейтенанта.

Когда Шелепин руководил комсомолом страны, работники центрального аппарата дали ему прозвище “отчим”. Ближе я познакомился с ним в 1957 году в дни VI Всемирного фестиваля молодежи. Приезжал он к нам и в конце семидесятых годов, когда стал профсоюзным боссом. Я слушал его расплывчатую речь, затем в аэропорту видел его жалкую улыбку, говорившую: я не совсем еще потерянный – вывернусь. В голову пришла мысль: не будь всех этих высших должностей, кем бы он был? Да никем – так, пустышка... А может, его постигла бы участь Молотова, Маленкова, Кагановича...

Еще со времени трагического ашхабадского землетрясения в ЦК партии в течение долгих лет вел лекционную работу прекрасный эрудит-международник (без его участия редко обходилось какое-либо выступление руководства), еврей по национальности. Несколько раз его по различным мотивам назначали и освобождали от заведования лекторской группой. И каждый раз оставляли в должности рядового лектора. В последний раз, когда его перемещали, председательствующий на бюро ЦК, чувствуя неловкость, обратился к нему со словами: “Дорогой товарищ и друг, ты уж прости нас за беспринципность. И на этот раз обстоятельства, не зависящие ни от тебя, ни от нас, требуют этого...”

Как-то, упрекая его в отсутствии самолюбия, я сказал: “На вашем месте плюнул бы и ушел”. – “Куда? – потерянно спросил он. – Почти четверть века отдал я этой работе. Привык... Совесть, совесть не позволяет”. Так со своей совестью он и остался работать до последних дней жизни. Мне он напомнил обыкновенную свечку: кто-то ее зажег, попользовался

ее ярким пламенем, а она таяла и таяла, обливаясь обжигающими слезами... так и погасла...

Однажды я и первый заместитель председателя Госплана республики (по паспорту – еврей) были в Москве в командировке. В соответствии с нашим положением в гостинице постоянного представительства Туркмении нам выделили правительственный двухкомнатный номер. Не прожили мы там и полных два дня, как нам объявили, что мы должны помещение это оставить и перейти в любой другой номер – на выбор. Меня это возмутило. Я убедил своего соседа пойти к полпреду и объясниться... Оказывается, на наш номер претендует министр финансов республики, яснее сказать – местный человек, прибывающий со своей женой. Я категорически заявил, что это грубейшее нарушение норм приличий, не говоря уже о нарушении прав человека, и что я никуда не перейду – буду там до конца срока командировки (как обычно, пять суток). Полпред толком говорить не мог, что-то бормотал, показывая на потолок, мол, указание сверху, но все же тихо произнес: “На вашем месте я уступил бы”. Я ни в какую, даже слышать не хотел никаких доводов. Мой соплеменник сдался. Я остался. Спал в одной из комнат. На следующий день, в полночь, служащие гостиницы привели супружескую чету. Слышу, как те вошли, тихо устраиваются, затем пошли спать во вторую комнату. Наутро я намеренно встал поздно (торопиться было некуда – день нерабочий). Министр с женой не стали завтракать в номере (такая возможность тоже была), видимо, пошли в кафе или ресторан. По существу, во все эти дни я с министром не виделся. Каждый прислушивался к действиям другого в номере, старался выждать, чтобы не встречаться лицом к лицу. А если невзначай и встречались, молча кивали головами – делали вид, будто ничего не знаем о происшедшем, а разговаривать некогда: каждый озабочен своим делом. Так прожил я все пять дней...

По истечении какого-то времени я встречаюсь со своим другом по злосчастному случаю в Москве. На мой друже-

ский упрек он ответил: “Ты же знаешь как *они* относятся к *нам*”. Меня, конечно, это огорчило. Я спросил: “Что значит – к нам?” Он уточнил так, словно готовый на все случаи жизни ответ – рецепт. Мне до боли стало его жаль. А самое страшное было то, что в его мозгу нашел себе место утешительный довод, граничащий со страхом. “Как так, – не соглашался я, – все мы втроем (ты, я и тот циник-министр) по должности входим в одну и ту же номенклатуру власти. Ведь у нас одинаковые партийные билеты, одного размера паспорта... Почему же в стране, которой честно, истово служу, я должен чувствовать себя ущемленным, ущемленным? Неужели из-за своего происхождения я должен, пока глаза открыты, страшиться, жить по крючковой “форме пять”, оглядываясь на загон, где витает один лишь страх. Нет уж, извините! Я человек другого склада!”

Со мной по соседству жил на редкость мягкий и обаятельный человек. Встречаясь, мы раскланивались, но ничего друг о друге не знали. Роста он был высокого, ходил осторожно, делая каждый шаг так, будто обдумывал, как совершить следующий. Почему-то он вызывал жалость. Хотелось заговорить с ним, предложить какую-то помощь.

Долгое время разговор у нас не получался. Он казался человеком предельно скрытным, сдержанным. Но как-то раз, совершенно неожиданно, словно предчувствуя беду, он мне доверился и рассказал о себе. Звали его Ефимом Наумовичем. Уроженец Молдавии, он жил и работал в Кишиневе в области градостроительства. После высокой волны антисемитизма, прокатившейся по стране, его пригласили в КГБ республики (тогда Молдавией руководил Брежнев) и предложили в течение сорока восьми часов покинуть столицу. Причина – не гарантируют безопасность его семьи от возможных погромов... Выбор был неширок – Сибирь или Туркмения. Из истории он знал, что Сибирь – край ссылок и морозов, где ни ему, ни тем более больной полиомиелитом жене и малолетним детям не выжить. Выбрал

солнечную, теплую республику. Не прошло и полугода – его и здесь нашли. Не ругали, не пугали, не допрашивали, просто периодически раза два в год, спокойно давали понять: здесь тоже его знают. Намекали даже, что он мог бы стать кое в чем помощником. На прощанье каждый раз внушительно предупреждали: “О встрече и разговоре никто не должен знать”.

...В один из осенних дней в подвале, приспособленном под бомбоубежище, его нашли висевшим в петле, привязанной к трубе парового отопления. После этого несчастья я нередко общался с семьей Ефима Наумовича, тихого, никому не мешавшего, глубоко уважаемого на работе человека. Навещая его семью, я просматривал семейный альбом. Видел Ефима Наумовича совсем молодым, еще неженатым – в досоветской Бессарабии и после ее присоединения к Союзу: доброжелательный, спокойный взгляд. На светлом счастливом лице – огромные живые глаза. Есть фото, где он запечатлен с группой ополченцев в фашистском тылу в Закарпатье.

Старшая дочь рассказывала, как им было нелегко без отца в эвакуации в далеком городе Шевченко. После войны – счастливая жизнь на родине. И вдруг спустя какие-то четыре-пять лет – душевные переживания отца, страшная болезнь матери...

Единственное, на что я был способен в то время – это утешать. А сам думал: что это значит, во имя чего человек живет, страдает, умирает? Годами искал ответ: неужели и мне тоже придется перешагнуть линию, отделяющую бытие от небытия? Какова же цена человека? Неужели и гроша не стоит?

К горькому сожалению, не стоит! Нужны доводы? Вот они. У большевиков скот ценился выше, чем человек! Советские люди не так ценились, не были так защищены, как любой вид скота. Неважно – крупный или мелкий рогатый скот. Во все годы правления коммунистов за падеж скота от бескормицы ли, мора ли, даже самого минимального количества, очень сурово наказывались, невзирая на ситуацию,

пастухи и доярки, руководители хозяйств, зоотехники и другие. В соответствии с созданным в интересах власти на скорую руку однобоким судоустройством можно было обвинить безвинных в любых “преступлениях”: в преступно-халатном отношении, умышленном нанесении ущерба государству, хищении и присвоении социалистической собственности, вредительстве, пособничестве врагам социалистического строя и т.д. и т.п.

В то же время рядом, повсюду: в родильных домах и детских домах, в больницах и приютах, на производствах и стройках, в шахтах и рудниках, на улицах и в домах, в тюрьмах – из-за равнодушия и халатности ежегодно гибли свыше миллиона “строителей коммунизма”... Ответственных, по неписаным законам, найти не давали, ибо это било по престижу социализма...

По всей стране средства массовой информации – газеты, радио, телевидение – по указанию Кремля, планомерно и ежедневно вели вульгарную антисемитскую кампанию дезинформации, имя которой – моральный террор.

В те годы я близко знал одного из замечательных сыновей туркменского народа, руководившего в Главном доме идеологической работой. Однажды он рассказал мне о том, как московские кураторы вмешивались во все дела регионов, указывали даже, что и как освещать на страницах газет и журналов, что именно – в республиканских, областных, а что – в районных и городских. Требовали перепечатывать из центральных изданий установочные материалы антисемитской направленности. На возражения, что материалы подобного содержания не характерны для республики, в ответ ссылались на указания сверху...

“Основное поле деятельности темных сил сионизма и его агентов – внутри нашей страны...” – писала одна из центральных газет. Читаешь эти строки и чувствуешь, как сдирают кожу с твоего лица. Кого же хотела убедить газета, на что была рассчитана эта зловещая фраза?

Курс ненависти к человеку, имя которому еврей, стал официальной линией государства. По стране покати́лась новая волна геноцида: что не удалось сделать фашизму, должен был довершить большевизм. Достаточно привести заголовки отдельных статей центральных органов тех лет: “Шпионы и убийцы под личиной врачей-ученых”, “Повышать политическую бдительность!” – публикации зловещие, низменные. А статьи: “Израиль в планах американского империализма” Ватолина, “Израильские сообщники боннских реваншистов” Крымского?!

А вот разоблачения на местах. В Академии наук Украины в махинациях уличены ученые Шве́ц, Ямпольский, Рабинович... В Минске обличен электрофокусник Шимко, в Пскове отыскивали проходимца Лернера. В рижском пивоваренном тресте – карьериста Каумана. Оказывается, он вовсе не Кауман, а самый настоящий Кацман. В Минеральных Водах задержан нарушитель жилищного кодекса Коваль. В Ростове-на-Дону разоблачен волокитчик в лице заместителя председателя облисполкома Людомирского. Не где-нибудь, а в самом центральном Управлении машиностроительных заводов Министерства путей сообщения выявлен организатор хищения миллиона рублей Розен. Только так и не иначе!

Автор опубликованной “Известиями” статьи “Повышать политическую бдительность” Нефедов собрал различные публикации из местных газет и довольно красочно расписал похождения “врагов народа” (исключительно лиц еврейской национальности) от Хабаровска до Вологды.

Так, уже в который раз, был дан старт очередной истерии антисемитизма. Вероятно, Кремлю и Лубянке больше нечем было заниматься. Началась нахрапистая работа: поиск и разоблачение “коварных агентов сионизма”, вредителей, шпионов, “недобитых врагов”. Для наводки на цель нужен и прицел. Можно не сомневаться – он был всегда наготове! Родилась версия: разоблачены врачи-убийцы. И

где! В самом сердце главной твердыни социализма – в сверхбронированном живым кордоном Кремле. Наспех состряпанное и зло задуманное “дело врачей”, среди которых было значительное число медиков еврейского происхождения. В официальной печати это называлось сенсацией века. Она и послужила поводом для начала гонений по всей стране. В некоторых высоких кабинетах поговаривали о намечаемой высылке евреев из крупных промышленных и культурных центров страны, а также портовых городов – Риги, Таллина, Одессы, Мурманска, Владивостока...

Доверчивые, запуганные люди не хотели лечиться у врачей-евреев, боялись приобретать лекарства в аптеках, где работали евреи. Под массовые подозрения попали все, кто картавил, носил фамилию с окончанием “берг”, “сон”, “штейн”, “бург” или именовался Абрамом, Давидом, Моисеем... Яростная лихорадка распространилась в места заключения и ссылки: в лагеря и колонии на Колыме и в Воркуте, Карелии и Казахстане, Мордовии и Сибири. Среди обреченных искали врачей-евреев, а выявив – ссылали еще дальше, планку наказания подымали еще выше. Вот так возбуждалась национальная и расовая вражда, подвергались унижению честь и достоинство не только одного, а всех народов!

Почти четверть века тому назад судьба свела меня с одной из жертв этой надуманной “сенсации века” – профессором Московского НИИ неврологии АМН СССР Егором Борисовичем Григорьевым, впоследствии всемирно признанным академиком. В отделении института, которым он руководил в те годы, на излечении находился мой тесть – фронтовик, кавалер многих орденов. Мне приходилось постоянно общаться с профессором. Это был человек исключительной интеллигентности, добрейшей души, эрудированный в области психологии, философии, антропологии. Был он невысокого роста, крепок, широкоплеч. При первой же нашей встрече сильное впечатление на меня произвели его умные,

добрые и мягкие глаза, задумчивые, как у большой, томящейся в аквариуме океанской черепахи. Они показались мне очень грустными, возможно, отягощенными сложностями жизни. Больше всего меня и тестя, к которому профессор был чуток и внимателен, покорила его благородный взгляд, доброжелательность.

В тот период я часто приезжал в Москву. За это время успел ближе познакомиться с некоторыми работниками института, где тесть пролежал более двух лет. Познакомился я и с кандидатом медицинских наук Шалвой Израилевичем Кобахидзе.

Однажды Шалва посвятил меня в удивительную тайну. Спросил, неужели я до сих пор ничего не заметил у нашего благодетеля, и посоветовал обратить внимание на руки профессора, на которых можно увидеть следы пыток в застенках Лефортовской тюрьмы, где Григорьева содержали по делу кремлевских врачей...

Прошло какое-то время, и, навестив тестя, я зашел к Егору Борисовичу. Профессор сидел за рабочим столом и что-то записывал. Приглашая сесть, рукой показал на стул. Мне показалось, что он хотел со мной о чем-то поговорить.

В это время меня будто кто подтолкнул – я вспомнил слова Кобахидзе, взглянул на руки хозяина кабинета... Пригляделся – и глазам своим не поверил. Увидел потрясающие пальцы, показавшиеся обваренными. Они напоминали дикое прошлое. Я вспомнил тогда: точно такие пальцы, в виде сосисок, изображены известным немецким художником Георгом Гроссом. Увидев такое наяву, я оцепенел. Кончики пальцев были мягче привычных, на них... не было ногтей, остались лишь следы, обработанные, по-видимому, йодом. На листке бумаги пальцы правой руки аккуратно выводили авторучкой буквы, слова, предложения. А пальцами левой руки бывший узник, мужественный врач, с напряжением придерживал лист. В те минуты жуткой тишины лист бумаги мне показался живым, настороженным. Я как бы отрез-

вел, стал другим, ощутимо вошел в другой мир, в мир, знакомый лишь из книг и кинофильмов о жестокостях Суллы и Понтия Пилата, Чингиз-хана и испанских инквизиторов, Муссолини и Гитлера...

Мой сосредоточенный вид и напряженный взгляд не прошли мимо профессора. Он принялся то убирать, то двигать какие-то предметы на столе... И тут же спросил о моих делах, стал водить руками, не зная, куда их деть. Я машинально, как загипнотизированный, растерянно водил головой, следя за его руками...

Мне стало ужасно неловко за то, что я невольно узнал его тайну. Когда он говорил, я старался смотреть ему в глаза. А говорили мы вот о чем. Знаю ли я о том, что в республике, где жил отец моей жены, в ее юго-западной части, имеются урановые рудники? Известно ли мне, что в раскаленных песках Каспийской низменности испытывается атомная бомба, и не мог ли мой тесть в то время находиться в местах ядерного взрыва? Признаться, я был обрадован тем, что такой человек, как профессор, ведет со мной сугубо доверительный разговор. А сам вопрос вызывал недоумение: какая связь может быть между моим больным тестем и атомной бомбой? И что за странная тема для беседы в стенах больницы?..

Еще до этой беседы профессор Григорьев знал из моих беглых рассказов о том, что я часто бываю в ЦК ВЛКСМ, и, видимо, предполагал, что о таких вещах я должен был бы знать. А я и знать не мог: эта тема – государственная и военная тайна за семью печатями.

Чтобы я лучше припомнил, мой собеседник еще спросил: “А что Булганин (руководивший тогда министерством обороны) к вам в республику приезжал, тоже не знаете?” Оказывается, я и этого не знал.

Ища выход из неловкого положения, я поинтересовался, как обстоят дела у моего тестя. Собственно, разговор наш как раз и шел в нужном направлении. На мой воп-

рос профессор откровенно сказал, хотя и понимал, что огорчает меня: “У вашего тестя неизлечимая болезнь, и пока что наша медицина тут бессильна. Да и вся мировая медицина тоже”.

Он стал пояснять, что тесть обречен и спасти его невозможно, и, чувствуя, что не хватает воздуха, глубоко вздохнув, зло выругался. Немного погодя с болью проговорил: “Но продлить жизнь, облегчить состояние Ваана Антоновича, – впервые так уважительно произнес он имя и отчество моего тестя, – мы постараемся, пригласим ученых-медиков из других лечебных учреждений, поддержим путем искусственного дыхания. Ведь у него лучевая болезнь, лейкомия, а проще – лейкоз. К нам в Москву, – продолжал он, – должен приехать английский коллега, профессор Уолтер, посоветуемся с ним, проведем консилиум”.

По лицу и глазам заведующего неврологическим отделением ведущего института страны заметно было, как страдает он от собственного бессилия. Ох, эти глаза! Они выдавали внутреннее состояние врача: заблестели, повлажнели, а лицо залилось густым румянцем...

А я в это время рассуждал: что за поразительное совпадение – два бывших узника системы: один обреченный, другой – целитель. Обреченный, отбывая срок на лесосплаве на реке Селенге до первых дней войны, обморозил конечности, в сражениях с фашизмом полностью подорвал здоровье и в стенах недужного дома, физически страдая, гаснет. Целитель всю сознательную жизнь отдал избавлению людей от болезней и за свою благородную деятельность стал жертвой злодейства, в этих же стенах испытывает душевную боль...

Бывший узник пытался дополнить свои мысли жестами, как бы вкладывая в мой мозг то, что до меня пока не доходило.

Я, по-прежнему замороженный движениями его рук, весь был во власти страдающего гения. В глубине моей памяти

вставало дикое видение: отделанное мрамором подземелье, массивные дубовые двери, покрытые специальными стальными листами, оборудование, приспособленное для проведения лабораторных опытов, несколько особых металлических шкафов, высокие, как в операционной, раскладывающиеся кресла. В кресле сидит профессор... Жесткие стальные наручники, похожие на браслеты, скрежет тяжелого металла, глухой удар станка, стиснутые зубы, холодные иглы, вонзающиеся под ногти живого, земного ангела, медленно проваливающегося с подрубленными крыльями в беспмятство...

Передо мной сидел необыкновенный потомок Иисуса Христа, один из выдающихся последователей отца медицины и автора врачебной этики – великого Гиппократы. А ему в вину вменялось самое страшное (невозможно представить даже мысленно!): покушение на жизнь самого Сталина и его приближенных... Сидел, во всей своей красоте, простоте и доступности, человек, который вместе с коллегами, лучшими врачами страны из лечсануправления Кремля – евреями, остался в живых после многомесячных нечеловеческих пыток, страданий и мук на Голгофе эпохи большевизма.

Я недоумевал: как могло это случиться с таким человеком, почему такая дикость возможна в стране, провозгласившей свободу личности и равенство народов, в стране, которая строит гуманное коммунистическое общество?..

Интересно, успел ли Ив Фарж, национальный герой Франции, известный борец за мир, рассказать правду о результатах своих исследований фактов насилия над врачами-евреями в Лефортове? Быть может, в сердцах высказал кому-то свое негодование и возмущение по поводу оговора и пыток в бериевском аду? А может, передал жене какие-то факты и документы.

(29 марта 1953 года машина, в которой находились Ив Фарж, его жена и еще несколько человек, попала в автока-

тастрофу. Но что удивительно – никто особо не пострадал, погиб только Ив Фарж. Видимо, кому-то было нужно, чтобы замолчал именно он – человек-правдолюбец.)

...Для своего ближайшего, много знавшего окружения сам Сталин стал не только загадкой и угрозой, но и помехой. В Кремле давно уже, особенно после XIX съезда партии, было пасмурно: взаимная подозрительность со стороны как старых, так и новых членов Президиума ЦК КПСС, открытые свары (интриги, склоки, соперничество соратников с подмоченной репутацией за право стать в ряды верноподданных фаворитов Хозяина).

Кремлевский улей приходил в заметное движение – для застоя время еще не пришло. Главные трутни торопились, боясь быть выброшенными на свалку давно ограбленной ими Родины.

В дни злобного фарса под названием “Убийцы в белых халатах” проводилась также продуманная операция по запугиванию вождя. В феврале 1953 года удаляются доверенные стражи Сталина: Николай Власик, Александр Поскребышев, личный врач Виноградов. Главная цель бывших соратников – борьба за власть. Чтобы задуманное увенчалось успехом, надо было морально добить, а если удастся, и физически убрать Главного Машиниста советского локомотива. Они прикинули: хватит старику, отметили его великое семидесятилетие – пора и честь знать... И совсем не случайно буквально в первые дни после внезапной кончины еще недавно вполне здравствовавшего Сталина, в дни траура и всенародной скорби, были приняты неотложные меры по резкому сокращению числа высших руководителей страны за счет молодых, введенных в Президиум ЦК КПСС на последнем съезде партии, перемещение одних и концентрация власти в руках других – более проверенных и до поры до времени надежных соратников. В срочном порядке средствами массовой информации и партийным органам верхнего и среднего

эшелонов были даны указания об усилении борьбы с культом личности и о коллегиальности в руководстве всей партийно-политической и государственной работой.

Начали сворачивать авантюру в Корее. Намечалась встреча между новым советским руководством и лидерами ведущих стран Запада для развязывания кровоточащих узлов напряжения, сдерживания “холодной войны”, примирения враждующих лагерей и идей. Наконец с осторожной оглядкой стали понемногу раздвигать махровый занавес на кремлевских подмостках. Раскрывались некоторые тайны большевистской тирании. Прекратилось дутое дело кремлевских врачей-”вредителей”. Морально затравили безмозглую жертву грязных дел власти – электрокардиолога кремлевской больницы, секретного сотрудника госбезопасности Лидию Тимашук, недавно только получившую орден Ленина “за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения кремлевских врачей-убийц”.

Вдохновителями антиеврейской политики в те годы были Политбюро ЦК КПСС, КГБ, их главные идеологи и ловчи-лы Сулов, Пономарев, Ильичев... Эта массированная травля, разжигание ненависти к целой нации – представительнице древнейшей культуры – и была главным орудием системы, которая не брезговала ничем. Была изобретена новая чудовищная “бомба” с ядовитой начинкой, не имевшая срока действия – для вывода на заданную орбиту. Люди, не понимавшие замысла властей, верили каждому слову руководителей, партийной печати, фальсификаторов-историков, махинаторов-корреспондентов. Одурманенные всем, что каждодневно им подавалось, читатели превращались в толпу (а вернее, в стадо), и накопившееся с годами недовольство жизнью, ее неустроенностью обрушивали на своих собратьев, таких же, как и они сами, жертв строя, державшегося на насилии и лжи.

Какое же государство планеты обладало такой возможностью, такой способностью?

Если государство (или кто-то от его имени) занимается бесстыдным подстрекательством, планомерным преследованием граждан, какое имя ему?

Антисемитизм обернулся трагедией для всех народов. Ей-богу, жаль, что такой короткой оказалась память у идеологов страны социализма. Как же можно было так осрамиться, забыв предостережение замечательного польского поэта Юлиана Тувима: “Антисемитизм – международный язык фашистов!”

Были ли на самом деле авторами подстрекательских статей Нефедовы, Крымские, Александровы и им подобные – неизвестно. Как видно, все они одной масти, в одном были одинаковы: чем народу горше, тем лучше. Это и есть высшая безнравственность. Это они вместе делали одно дьявольское, безрассудное дело – подрывали основы государства, разрывали узы дружбы между народами. Не только “союза нерушимого”, но и лица у государства не стало. Вот и приходится ныне всем миром стараться восстановить хотя бы лицо свое.

Поскольку речь зашла о роли Кремля и обосновавшихся там вождей, хотелось бы упомянуть имя Лазаря Кагановича. В тот кровавый период он считался ближайшим соратником Сталина, самым преданным его псом. В Кремле на верность проверяли, хватая за душу. Верность Кагановича проверялась на его многочисленной родне. Одного брата посадили, другого довели до самоубийства, под колпаком КГБ находились жена, дети, снохи, зятья. А он, раболепствуя, демонстрировал свою верность “крестному отцу”, главному организатору истязательств в государстве.

Думаю, уместен вопрос: мог ли Каганович в те годы делать добро, быть полезным своему народу? Мог ли, зная, что гибнут, задыхаются лучшие люди страны, ее светлые умы, встать на их защиту? Мог ли он в один тягостный день или в пору ночных пьяных оргий на дальней или ближней сталин-

ской даче вонзить нож в сердце или бросить яд в бокал злодея и отомстить, если уж не за народ, то хотя бы за смерть близких и родных, за унижение жены и себя самого? Мог ли совершить (не грех ли сравнивать?!) подвиг прекрасной Юдифи?..

...Один из моих бывших руководителей страшно ненавидел евреев. Это я замечал постоянно. Мне было известно и то, что конфликтовать с евреями ему лично никогда не приходилось. У тех же, кого он знал, отрицательных черт не находил. Но при случае рассказывал непристойные анекдоты, скабрзности. Часто общаясь с этим человеком, я задумывался: что его заставляет так поступать? Было это, конечно, неспроста. Он хорошо знал, что в центре настойчиво обращается внимание населения на “реакционную” деятельность сионизма, “неблаговидные” дела евреев. На весь мир трубят об этом все советские газеты, радио, телевидение, миллионными тиражами издаются книги, брошюры. Об этом же секретно информируют руководящие органы.

Когда шла речь о приеме на работу нового сотрудника, он открыто заявлял: только не еврея!

Однажды я решил проверить, знает ли он что-нибудь обо мне:

– Некоторые считают, что я еврей, другие принимают за армянина.

– Пусть лучше думают, что вы армянин.

Я не знал, что ответить.

– Да вы не волнуйтесь, – словно подслушал мои мысли собеседник, – вы хороший человек. Работать с вами мне нравится, друг к другу мы привыкли, – успокаивал он, заметив мою озабоченность.

Получалось, вроде бы это его не трогало, но в то же время: не люблю!

Духовно и нравственно этот человек стоял на уровне ему же подобных деятелей. Интеллектуалом не был, но старался казаться вежливым, спокойным, соблюдал такт. Мог при-

нять, выслушать любого. Но держался хмуро и напряженно, брови его всегда были насуплены. Человек, беседовавший с ним, постоянно ощущал напряженность. А тот, кто знал моего шефа лучше, мог по глазам и по желвакам на скулах определить, что тот вот-вот сорвется...

На коллегии уважаемым людям он мог бросить реплику: “Вы знаете, что творится у вас под носом?” Или: “Если не будете работать, как мы требуем, можете оставить место, держать не будем...” На власть и на все, что было связано с нею, шеф смотрел не в меру ревностно, хотя во многое, что делал и решал сам, не очень верил. Власти служил неистово. Думаю, он просто был ее жертвой. Но и любил властвовать. Это можно было определить по его указательному пальцу, выступавшему довольно заметно. Им шеф часто властно повелевал, демонстрируя, что именно в нем заключалась вся мудрость. Иногда мог опуститься до грубости, оскорбления. В такую минуту лицо его до неузнаваемости искажалось, губы бледнели, зрачки становились колючими. При хорошем же расположении духа любил повторять: “Без игры и лавирования политики не бывает. Она была, есть и будет!”

В такие моменты мне не раз хотелось спросить: “А не является ли она уделом авантюристов?” И каждый раз я сдерживал себя... Казалось, что все в нем – от лукавого.

К людям он был безжалостен. Как-то на мой доброжелательный отзыв об общем знакомом он с упреком бросил: “Для вас все люди хороши”. Высшее удовлетворение получал, когда удачно организовывал дело, кого-либо наказывал или сам был отмечен похвалой. Работа у него была неспокойная – постоянные стрессовые нагрузки. Искренне страдал, когда в верхах что-то не ладилось и в его адрес шли упреки, язвительные колкости, нередко доходившие до взаимных обвинений... Большинство служащих, особенно из его окружения, работали на пределе, многие из них рано угасли, получив инсульт, инфаркт, а то и кончив жизнь самоубий-

ством. От всего этого он был избавлен благодаря превосходной “отдушине”. Был у него свой, потаенный мир, мир большого чувства, который затмевал все...

И в самом деле – жизнь непредсказуема... В расцвете своих сил он безумно полюбил... еврейку! Она работала секретарем коллегии ведомства, которым он руководил. Да так полюбил, что большего счастья не представлял и не желал.

Лучше нее человека я не знал. И действительно, ее полюбил бы каждый, кто хоть однажды увидел: она была необыкновенно хороша. Природа одарила ее всем – в ней гармонично сочетались женственность, нежность, элегантность, ум, врожденное чувство собственного достоинства. Она излучала светлую жизнерадостность, в ее душе была искра Божья, чем привлекала и располагала к себе окружающих. Голос ее был чистым, мягким, чуть глуховатым. Когда она улыбалась, все вокруг озарялось. Была на редкость добра, с людьми общалась легко. Работала четко, добросовестно.

Шеф берег ее пуще глаза: летом – от зноя, зимой – от холода, в непогоду – от сквозняков. Оберегал и от посторонних глаз: разница между ними в возрасте составляла двадцать четыре года... Помню, как один из москвичей, будучи у нас в командировке, попытался заинтересоваться ею. Так шеф свою возлюбленную тут же отправил на больничный. Власть у него была почти неограниченная. У него был огромный, прекрасно обставленный кабинет, шикарная приемная. В кабинете, рядом с сейфом, была дверь, которая вела в комнату отдыха. Приводить любимую домой он не мог – семья, уже и внуки были. У нее дома – мать и дочь-школьница.

Принимая ее на работу, засомневался вначале: Новгородская, Татьяна Борисовна?... Но светлые волосы рассеяли первоначальные сомнения. Зато потом... Она стала королевой его желаний и тайных встреч.

У нее были умные темно-карие глаза, которые притягивали сразу и навсегда. Во всем нашем окружении она, не-

сомненно, была единственной такой. Почему-то мне ее всегда было жаль, я был равнодушен ко всему, что касалось ее, ревновал страшно. Бывали дни, когда в глазах ее застывала нежная грусть. В такие минуты очень хотелось увезти ее от всех куда-нибудь подальше и навсегда...

В одно дыхание я посвятил ей вот такие слова:

*Женичину из рода Авраама
Я люблю восторженно, упрямо,
Не за то, что праведного корня,
А за то, что мудрости покорна,
В гордости тверда и непослушна,
А в любви – слаба, великодушна.*

*Женичину, глаза которой – кари,
Корня прародительницы Сарры,
Я люблю за лоб ее венчальный
И за взгляд – то светлый, то печальный,
И за стан, что строен, как у лани,
И за губы, что всего желанней.*

*Женичину, наследницу Ревекки,
Я люблю отныне и навеки,
Что душой еврейской терпелива
И права, как истина, на диво,
Коль заслужишь, станешь верным другом,
А изменит – значит, по заслугам.*

*Родом от праматери Рахели.
В голосе – восточные свирели,
Как Мирьям, играешь на киноре
Перед свитком негасимой Торы.
Ты меня, как солнце, обогрей-ка,
Женичина по имени Еврейка.*



Татьяна Борисовна
Новгородская.

...В те годы вся страна была охвачена повальной модой на совещания, симпозиумы, семинары, школы передового опыта и прочее. Такие форумы проводились в Москве, столицах других республик, курортных городах. В обычае было брать с собой на такие сборы личных секретарей, стенографисток, помощниц, окрещенных в узком кругу “спецженами”. Но брать с собой секретаря коллегии он не смел, не хотел бросать тень на репутацию своей любимой. Отдавая дань моде, изредка брал с собой в поездки жену, которая по красоте своей могла бы соревноваться с современными гетерами из высших кругов.

Так протекала его вторая, главная жизнь. За это время Татьяна Борисовна успела подарить ему прелестную девочку. Дочь была точной копией матери, только на маленькой красивой ее головке чернели густые волосы...

В Юрмале планировалось проведение межреспубликанского совещания. На письменном столе шефа напоминала об отпуске семейная путевка в Карловы Вары... Он задумал,

что называется, “убить двух зайцев сразу”: в Ригу поехать со своей возлюбленной, а на курорт – с женой. Встретиться с женой он рассчитывал в Москве после юрмальского совещания, а оттуда – самолетом в Чехословакию.

Осуществить свою мечту ему удалось. Пять незабываемых дней и ночей... Впервые жили они в гостиничном номере-люкс как настоящие муж и жена. Жили и радовались своему счастью, свободе. В первую же ночь признался ей: “Это моя настоящая брачная ночь”. Своей нежностью и молодостью Татьяна вливала в него бодрость и воодушевление. Он был переполнен счастьем, получал высшее удовлетворение от жизни, забыл, что где-то есть служба, долг, семья, что существует время...

Но... ему надо было ехать в Москву, а ей – возвращаться домой. Татьяна хотела еще немного задержаться в Риге – купить кое-что своим девочкам и матери. Он сам взял ей билет на самолет, вылетающий в Ашхабад через неделю...

Только приехал в Карловы Вары, ему передали правительственную телеграмму: “Срочно возвращайтесь похороны Первого”. На следующий же день он уже был в Ашхабаде.

В аэропорту почему-то было много работников милиции, машин “скорой помощи”. На его вопрос ответили: только что при приземлении разбился пассажирский самолет из Риги. Он вздрогнул, сердце вдруг бешено заколотилось в страшном предчувствии. Кровью налитыми глазами тревожно стал озираться вокруг и снова спросил:

– Какой рейс? Рейс какой?

Ответа не расслышал, в ушах стоял звон, ему стало плохо. Подоспели коллеги, взяли из его рук саквояж. Подошли двое членов правительственной комиссии по организации похорон первого секретаря ЦК, скончавшегося от инфаркта.

Приехав на работу, шеф позвонил мне, попросил зайти... Крупными шагами ходил по огромному ковру, скрестив руки за спиной. Выглядел очень усталым, лицо посерело, в глаза

не смотрел. Едва я поздоровался, как он, не скрывая волнения, сказал:

– Прошу, срочно вызывайте машину и поезжайте в аэропорт. Разбился самолет из Риги, кажется, крылом задел осветительную мачту. Есть жертвы... Понимаете, самолет из Риги, этим рейсом летела она.

Напряженно вздохнув, он весь содрогнулся, отвернулся к окну. Вдогонку мне крикнул:

– Я буду на панихиде в Доме Советов. Пока все подробно не узнаете, не возвращайтесь, прошу вас... Умоляю!..

Действительно, это был тот злополучный рейс, на который он сам взял ей билет. Прекрасная пассажирка вместе с десятками других стала жертвой нелепого случая...

Через некоторое время раздался телефонный звонок:

– Ну что?

Я ответил.

– Я чувствовал это, – не сказал – прошептал шеф.

Вскоре пришел и сам. Вызвал меня, а секретарю приемной велел не пускать никого. Видимо, на душе у него было тяжело, поэтому и решил поделиться своим горем, рассказал мне о своих отношениях с Татьяной. Просил, чтобы все хлопоты, связанные с похоронами, я взял на себя.

– Прошу, не жалейте ни времени, ни средств. Подключите и профком.

Он достал из сейфа пачку денег и передал мне.

– Поймите меня, я не могу открыто сделать все необходимое. Считайте, что все делаете за меня, как для самого близкого друга...

“Благословен человек с добрым именем и тот, который ушел с добрым именем”, – почему-то вспомнились мне слова из Талмуда...

В пятницу на одном кладбище он хоронил двух близких для себя людей. На Аллее Почета – сановного друга, чуть поодаль – возможно, ближе к бессмертию – горячо любимую женщину. Республика потеряла своего лидера в резуль-

тате политических интриг, а он – сердечного друга из-за неумейной любви. На временно установленной правительственной трибуне он стоял среди соратников, глубоко и искренне страдая.

Как несуразна эта жизнь! Годами он и не помышлял хотя бы раз куда-нибудь взять ее с собой, даже за город, на дачу...

И вот...

На следующий день – в субботу – шеф пришел на работу очень рано и сразу прошел в комнату отдыха, даже двери не прикрыл, сел на кожаный диван и, наверное, впервые в жизни безудержно зарыдал. Это были слезы печали и любви, слезы прощания и тоски по горячо любимой женщине, подарившей ему неизведанное ранее большое чувство.

Безутешно страдал он еще и потому, что не смог сам ее похоронить. В эти минуты он подсознательно чувствовал, как ненавистно ему общество, окружавшее его, думал, что безвозвратно потерял не только любовь, красоту, счастье, которого ему никогда больше не суждено испытать, но и интерес к жизни. Потеряв подругу, он чувствовал, как сам разрушается. Что же, Бог наказывает не того, кто уходит в мир покоя, Он наказывает того, кто остается в мире зла...

Придя на работу, я увидел, что двери кабинета шефа открыты. Решил, если он уже здесь, доложить обо всем, что сделано. Вошел в кабинет – никого, дверь в комнату отдыха приоткрыта... Он сидел на диване с отеком лицом, усталыми глазами смотрел куда-то... Заметив меня, не удивился, попросил закрыть дверь и побыть с ним. Тепло приобняв его за плечи, я сказал ему несколько слов соболезнования. Выглядел он глубоко страдающим, беспомощным.

– Что же будет, как жить дальше? – перекошенными губами произнес он. – Была такая чудная, прекрасная, как весна, и вдруг... Лучше бы мне умереть... ей и сорока ведь не было... Почему мир так несправедлив? Рядом с ней я чувствовал себя сильным, духовно богатым. Только с ней по-настоящему понял счастье.

Я спросил, знал ли он о ее происхождении.

– Накануне нашей первой встречи, вот здесь, – показал он на диван, – она об этом сказала прежде всего. И я понял, что любящие ни национальности, ни положения не признают...

За многие годы знакомства таким я его видел впервые. Его нельзя было узнать.

– Жаль и ее, и детей. Да и в силах ли что-либо сделать ее старая, убитая горем мать, Фрида Исаковна? – сказал я.

– Буду отцом твоих детей! – проговорил он, обращаясь к ушедшей из жизни женщине. – Во имя ее светлой памяти сделаю все-все, – повторил еще увереннее. – Бесконечно многим я обязан этой семье. Не сомневаюсь: все, что было прекрасного в Татьяне, впитано с молоком ее матери. Раньше я не знал, не понимал... А как много страдал да и сейчас страдает ее тихий народ...

Долгие годы по его просьбе я навещал Новгородских, старался им чем-то помочь. Когда девочки подросли, он помог им поступить в медицинский институт.

Фрида Исаковна немало рассказывала мне о своей тяжелой жизни и мытарствах.

– Всю жизнь я подвергалась унижениям. Власти считали какой-то второсортной. Сколько себя помню, радости не знала, жизнь прошла в волнениях и страданиях.

Сама она была из семьи питерских врачей. После изгнания петлюровцев, по предложению председателя Центрального исполкома Украины Петровского, хорошо знавшего ее родителей, семья переехала на работу в Харьков, бывший тогда столицей республики.

– Вот там и начались мучения отцовской семьи. После покушения на Кирова по всей стране разыскивали ленинградцев. Добрались до отца и матери. Сколько пережили: и Сибирь, и жизнь в бараках, нужду, голод, вечный страх за жизнь. В 1956 году вернулась одна.

– Господи, толком и родителей похоронить не смогла, – в слезах продолжала она. – На руках была Татьяна, устроить-

ся и жить было негде. На Украине, еще девушкой, работала корректором в типографии, другой специальности не успела приобрести... Куда ни обращалась, нигде не брали, считали неблагонадежной.

В Харькове и Ленинграде в прописке отказали. Вот и очутилась в Средней Азии. Здесь все старалась устроить жизнь дочери. А теперь вот и ее не стало...

Когда в стране вновь стало беспокойно, надвинулась гроза, немощная бабушка забеспокоилась за судьбу своих милых внуков.

– В своем отечестве чувствовать себя гонимой, чужой, подвергаться унижениям и оскорблениям... Неужели мало того, что пережили я и мои родители, столько сделавшие для установления советской власти? Что уж тут говорить, и Татьяна выкручивалась, жила как хамелеон. Не хочу, чтобы все повторилось с внуками – единственной в моей жизни отрадой и утешением. Здесь у них никогда не будет возможности отстоять свои права. Хочу быть спокойной за их будущее. Слава Богу, наши двинулись к свободе. Их ждут, их не обидят, защитят...

Фрида Исаковна попросила, чтобы я переговорил с добрым опекуном девушек. Была уверена, что он одобрит отъезд детей..

В самом деле, подумал я, десятилетиями в стране идет неприятие еврейства, травля, психоз, давление на достоинство, язык, культуру, историческую память народа, его авторитеты. За долгую свою жизнь не могу вспомнить случая, чтобы кто-то возвысил голос против дискриминации евреев...

Фактически встал уже вопрос о физическом существовании целой нации на одной шестой земного шара. До 1918 года в России проживало около 6 миллионов евреев. В 1926 году при проведении переписи населения на территории СССР было зарегистрировано 2 600 тысяч евреев. В 1939 году число евреев составило свыше 3 миллионов. А через 50 лет евреев стало меньше на 1 миллион 650 тысяч. В то же время население страны возросло на 110 миллионов.

Если верить советским данным, с 1945 года и по сей день из всех республик Союза выехало 600-650 тысяч евреев. А где же еще миллион? Что с ними стало? И что может стать с оставшимися еще через пятьдесят лет? Вынужденная ассимиляция, бегство или что-то еще?..

Ни один еврей не покинул бы без причины потенциально богатую и мощную страну, не покинул бы родину, где родился и вырос, обрел семью и друзей, где похоронены его родные и близкие...

“Причин много, живешь как на вулкане”, – говорила несчастная мать Татьяны Борисовны.

Может ли целый народ оказаться в положении подозрительной категории граждан, если в государстве не пещерная система правления? Может ли жить спокойно человек в стране, где находятся деятели (как ни печально, и среди интеллигенции), разжигающие ненависть к нему, если он иной веры и мыслит другими категориями?

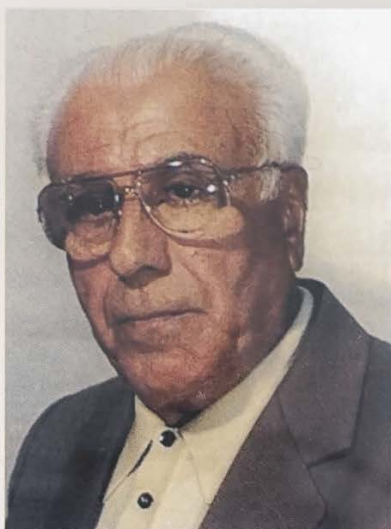
Хотелось бы задать вопрос представителям духовенства всех вероисповеданий планеты – людям, являющимся совестью человечества: разве Бог не един?

В наш чумной век всем нам необходимы и нравственная чистота, и внутренняя ясность. Время, жизнь настоятельно ставят перед всеми, кто еще не потерял рассудок, этот вечный призыв. Человеку надо вернуть веру и любовь, где бы он ни находился – за школьной партией или у руля правления. Ибо в каждом есть частица Бога!..

Так и решили мы с постаревшим, ставшим мягким, отзывчивым, даже сентиментальным другом семьи Новгородских: детей прекрасной Татьяны мы оба с легким сердцем и немного тревожной радостью провожали на их древнюю историческую родину – в Государство Израиль... Хоть на закате жизни, но он все-таки понял, что дело вовсе не в пятой графе анкеты по учету кадров и не в вероисповедании. Главное – в человечности и нравственности, дефицит которых, увы, ощущается у нас...

С юношеских лет искал я счастье. Всю жизнь шел по терниям. Познал страдание. Страдание – удел человека. Достаточно испил я из горькой чаши, уготованной веком. Душа и нервы были постоянно обнажены. Много переживал, размышлял, порой суждения мои были самыми противоречивыми. Но то, что я сын своей матери, – никогда и ни при каких обстоятельствах не забывал, оставался самым собой. Может, тем и был счастлив, что, страдая сам, понимал и чужое горе...

На сердце моем множество кровоточащих рубцов. Мозг порой изнемогает под тяжестью дум и переживаний, словно прожил я несколько веков... Но я рад сегодня, что могу поделиться своими переживаниями, мыслями, восприятием мира. И если только стране моих предков понадобятся мои сердце и мозг – я завещаю ей их. Пусть они свидетельствуют о том, как я страдал, как любил жизнь, как дорог был мне народ и далекой, и близкой Родины.



Шалом Пинхас, сын раввина, родился в 1927 году. Окончил историко-филологический факультет Туркменского государственного университета.

Автор шести книг, в том числе переведенных на иврит. Опубликовал свыше ста рассказов, сказок, миниатюр, стихов, юморесок, фельетонов, притч, многочисленные афоризмы и проч.

Периодически печатается на страницах русскоязычных израильских газет (“Новости недели” и др.).

Его творческая деятельность получила высокую оценку аттестационной комиссии Иерусалима.

Шалом Пинхас – член Союза писателей Израиля.